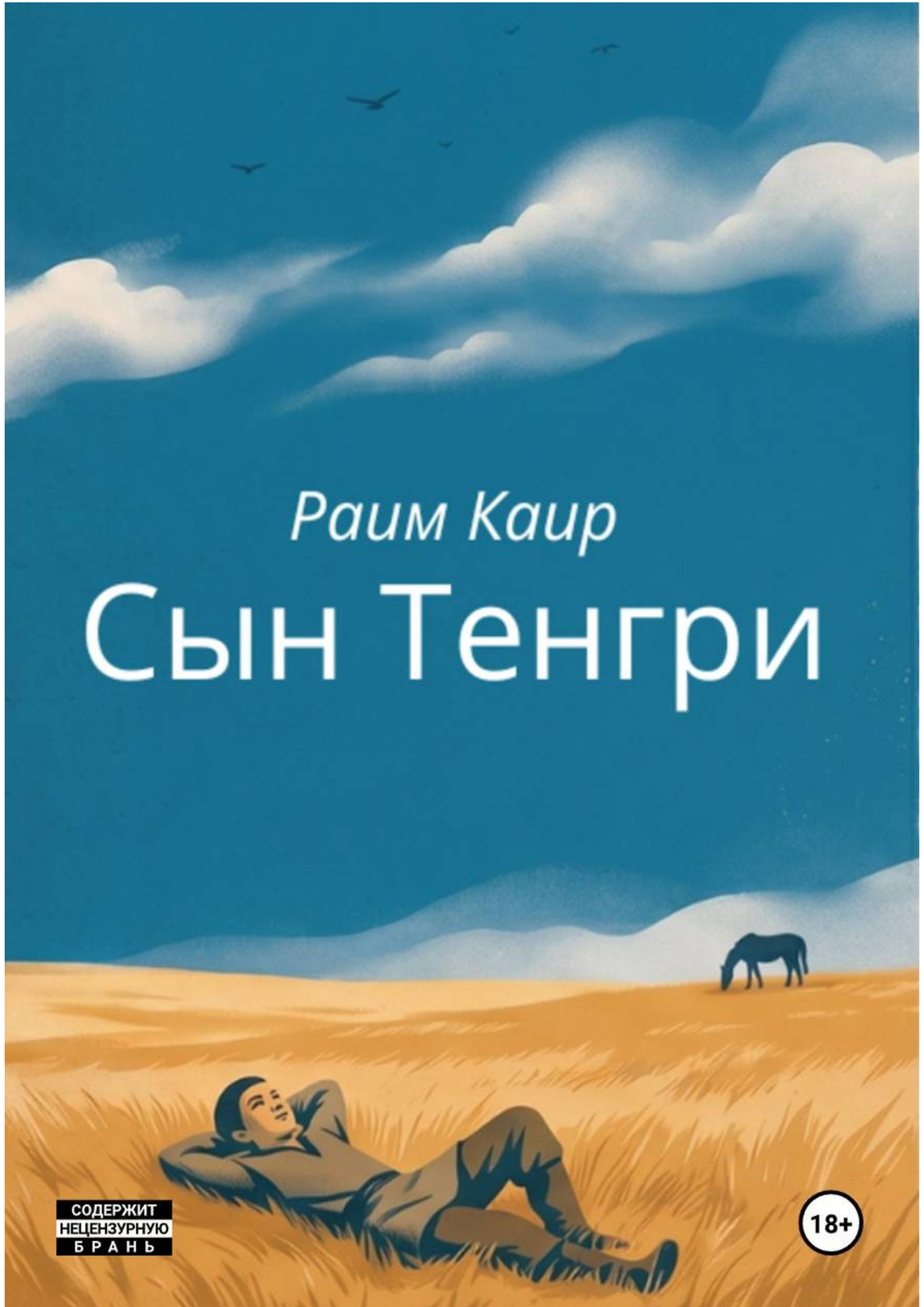


The background of the cover is a stylized illustration. The top half is a deep blue sky with soft, white, billowy clouds. Several small, dark silhouettes of birds are scattered across the sky. The bottom half of the cover depicts a vast, golden-yellow field of tall grass. In the lower-left foreground, a young man with dark hair is lying on his back, looking up at the sky with his hands behind his head. In the middle distance, to the right, a dark silhouette of a horse stands facing left. The horizon is marked by low, rolling hills in shades of blue and white.

Раим Каир

Сын Тенгри

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Раим Каир
Сын Тенгри

«Автор»

2026

Каир Р.

Сын Тенгри / Р. Каир — «Автор», 2026

Демонов не бывает. Есть люди, которых удобно так звать. XII век. Молодой кыпчак Бозкур хотел одного — жить: пасти коней, растить детей, стареть у своего очага. Но степь не спрашивает, чего хочет человек. Первая кровь делает его изгнанником. Резня на берегу тёплого моря отнимает семью. А маленькую дочь увозят в трюме невольничьего корабля за море, в Царьград. И тогда Бозкур идёт следом. Через мороз, который убивает вернее сабли. Через чужие войны и чужое золото. Во главе наёмного войска, собранного из степного сброда и закалённого в крови и стуже, — к великому городу на воде. Туда, где умирает империя, где старик с холодными глазами покупает трон серебром и терпением и где степному ножу уже приготовлена работа, о которой не пишут в грамотах. История запомнит его как Карателя латинян. Сам он будет помнить одно: где-то в этом городе, среди трёхсот тысяч чужих очагов, растёт девочка с сушёной лапкой филина на шее. Пыль, кровь, иней — и над всем равнодушное синее небо.

© Каир Р., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Акт первый	6
Глава первая. Небо над степью	7
Глава вторая. Дым очага	13
Глава третья. Молоко и железо	19
Глава четвёртая. Холодный ключ	24
Глава пятая. Долгий счёт	31
Глава шестая. Жёлтый овраг	36
Глава седьмая. Ураганы	46
Глава восьмая. Кара шанырак	53
Глава девятая. Дорога на Жем	57
Глава десятая. Цена тепла	63
Акт второй	79
Глава первая. Повязка	80
Конец ознакомительного фрагмента.	84

Раим Каир Сын Тенгри

Раим Каир
СЫН ТЕНГРИ
роман

«Сын Тенгри» — исторический роман о кыпчакском воине конца XII века.

Потеряв семью, степняк Бозкур проходит полмира — от Дешт-и-Кипчак через Дунай до Константинополя, — чтобы найти дочь, увезённую в рабство. Судьба героя тесно вплетена в подлинные события эпохи: закат византийской династии Комнинов и кровавую резню латинян 1182 года.

Роман написан в традиции жёсткого исторического реализма: без романтизации войны, с глубоким вниманием к быту наёмников и внутренней жизни человека, поставленного историей на лезвие.

Мороз — слуга. Небо — свидетель. Дочь — цена всего.

*Демонов не бывает.
Есть люди, которых удобно так звать.*



От Жема до Царьграда. 1180–1182

Акт первый

СИНЕЕ НЕБО

Глава первая. Небо над степью

Трава пахла полынью и последним теплом.

Бозкур лежал на вершине пологого холма, раскинув руки под затылком, и смотрел в небо. В то самое небо, которое кыпчаки называли одним словом — Тенгри. Не просто небо. Бог. Отец. Свидетель.

Облака шли с севера медленно, как старики идут на поминки — без спешки, с достоинством. Одно было похоже на лошадиный круп, другое расплывалось в ничто, третье тянулось длинным белым хвостом, словно дым от далекого кочевья. Бозкур следил за ними взглядом человека, которому некуда торопиться. Девятнадцать лет. Начало осени. Солнце еще грело щеки, но ветер уже знал что-то такое, чего солнцу не объяснить, — он приходил с холодной стороны и уходил куда-то за горизонт, унося с собой запах сухой полыни и конского навоза.

Хорошие запахи. Запахи жизни.

Далеко внизу, в распадке между двумя языками выгоревшей травы, паслась его лошадь — Боз-Ат, серый четырехлетка с темным пятном на правом плече, похожим на след пальца великана. Конь щипал редкую траву неторопливо и деловито, изредка поднимая голову и поводя ушами. Умная скотина. Спокойная. За три года привык к хозяину так, что чувствовал его сон и бодрствование на расстоянии.

За холмами, всего в часе неспешной езды отсюда, — Бозкур не считал, просто знал степью, как знают расстояние те, кто вырос в седле, — курилась его юрта. Белая, чуть приплюснутая к земле, маленькая с этой высоты, как белый гриб после дождя. Из верхнего отверстия тянулась тонкая нить дыма. Мать топила кизяком — Бозкур знал это по цвету дыма, серо-голубому, почти прозрачному. Кизяк горит долго, ровно, без злобы. Матери нравился такой огонь.

Он закрыл глаза.

Степь никогда не бывает тихой — это знают только те, кто в ней жил. Городские люди, которых Бозкур видел дважды в жизни на большом ярмарочном торжище у реки Итиль, думали, что степь — это тишина и пустота. Глупые люди. В степи всегда что-то звучало: где-то далеко кричал стервятник, протяжно и равнодушно; трава шелестела от ветра — не просто шелестела, а разговаривала сама с собой на языке, которому не учат, но понимают; кузнечики трещали ровно, без остановки, будто бесконечный далекий гул конского табуна держит ритм. Степь дышала. Степь жила. И девятнадцатилетний Бозкур был частью этого дыхания — маленькой, почти незаметной, но всё же частью.

Тенгри смотрел на него сверху.

Лежи, — говорило небо. Пока можешь — лежи.

Он слышал копыта раньше, чем их почуял Боз-Ат.

Не тревожный топот, не намёт — ровный, чуть усталый шаг лошади, которую не гонят, но и не сдерживают. Бозкур не открыл глаз сразу. Подождал. Прислушался, как учил старый Сарбас — дядя по матери, умерший три зимы назад от старой стрелы, засевшей в боку еще с молодых походов. Сначала слушай, потом смотри. Уши не врут — глаза иногда обманывают.

Один всадник. Не тяжелый — лошадь ступает легко, не проваливается в сухую землю. Едет без спешки. Знает, куда едет.

Бозкур открыл глаза.

Темир подъехал, не торопясь, спешился в одно движение — без суеты, без лишнего, как всё, что он делал, — и бросил поводья на землю. Конь его, гнедой мерин по кличке Донен, понял хозяина без слов: остановился и тоже потянулся к траве.

Темир лег рядом. Просто лег, закинул руки за голову, уставился в то же небо.

Молчание между ними не было неловким. С Темиром вообще не бывало неловкого молчания — он был из тех людей, которые умеют молчать так же уверенно, как другие говорят.

Двадцать семь лет, литое тело, взгляд, от которого чужие лошади нервничали. На шее, под левым ухом — полосатый рубец от ожога, уже старый, побелевший по краям. На левой руке не хватало половины безымянного пальца. Бозкур никогда не спрашивал про палец — знал, что Темир расскажет сам, когда придет время. Или не расскажет. Это тоже его право.

— Мать искала тебя, — сказал наконец Темир.

Голос у него был как галька на дне мелкой реки — тяжелый, окатанный, без острых краев.

— Нашла?

— Нет еще. Нашел я.

Бозкур усмехнулся уголком рта, не отрывая взгляда от облаков.

— Значит, не нашла.

Темир не ответил. Достал из-за пояса сухой стебель дикого лука, сунул в зубы, прикусил. Долго смотрел в небо. Потом сказал:

— Осень пришла.

— Пришла.

— Зима скоро.

— Скоро.

Темир повернул голову, посмотрел на младшего товарища тем своим взглядом — тяжелым, немигающим, как смотрит степной орел перед тем, как сложить крылья и пойти вниз.

— Скот у вашего аула плохой нынче. Я видел.

Бозкур не ответил. Это не было вопросом.

— Три лошади пали летом, — продолжал Темир ровно, без жалости, просто называя вещи своими именами. — Овец мало. Зимой тяжело будет.

— Переживем, — сказал Бозкур.

— Может, переживете. — Темир помолчал. Пожевал стебель. — А может, нет.

Бозкур наконец повернулся к нему. Посмотрел в лицо — изрубленное жизнью, неподвижное, как степной камень-балбал, которые предки ставили на курганах в память о великих воинах.

— Говори.

Темир не спешил.

С вершины холма степь была видна во все стороны — бесконечная, выгоревшая до желтизны, чуть тронутая бурым по краям, там, где трава уже сдалась перед осенью. Кое-где темнели редкие кусты терескена. У горизонта на западе едва угадывалась полоска более темного цвета — там начинался другой аул, другой род, другие люди. Далеко. Степь большая.

Темир достал стебель изо рта, осмотрел его, бросил.

— Слышал про Теркен-хатун? — спросил он наконец.

Бозкур нахмурился. Слышал, конечно. Все слышали. Хорезмийский шах Текиш взял в жены дочь одного из кыпчакских вождей — Теркен-хатун, гордую, говорят, как сам Тенгри. Брак большой. Союз большой.

— Слышал.

— А про то, что этот союз закрыл для нас южные пути? — Темир говорил по-прежнему ровно, но в голосе его появилось что-то — не злость, нет, скорее то, что бывает, когда человек видит, как нависает туча, и знает, что дождь будет злым. — Хорезмийские купцы теперь везут товар в обход. Наши караваны стоят. Откупные не платят. Думаешь, почему в этом году на торжище у Итиля было меньше народу? Думаешь, почему твой отец потерял трёх лошадей — а заменить их было не на что?

Бозкур молчал. Смотрел в небо.

— Теркен-хатун отдала нас хорезмийцам, — сказал Темир почти без интонации. — Тихо отдала, без боя. Через брак. Через шелка и подарки. И теперь Хорезм будет приходить за нашими пастбищами — сначала вежливо, с послами и золотом. Потом с копьями.

— Ты это знаешь или думаешь?

— Я это видел, — отрезал Темир. — Я служил на юге. Я видел, как хорезмийцы берут землю. Сначала приходит посол. Потом — купец. Потом — гарнизон.

Над холмом проплыло облако — то самое, похожее на лошадиный круп, уже изменившее форму, вытянувшееся, ставшее похожим на руку с растопыренными пальцами. Бозкур смотрел на него.

Девятнадцать лет. Солнце греет лицо. Мать топит кизяк. Боз-Ат щиплет траву внизу, у подножия холма.

Мир простой и понятный. Степь. Небо. Конь. Огонь в юрте.

— Что ты хочешь от меня? — спросил он.

Темир долго не отвечал. Смотрел в небо, как смотрят люди, которые уже приняли решение, но дают другому время дойти до него самому.

— Пока ничего, — сказал он наконец.

Они лежали рядом и молчали. Степь дышала вокруг них. Ветер дул с севера — ровный, негромкий, пахнувший далёкими снегами, которые ещё не пришли, но уже решили, что придут.

Бозкур смотрел в небо Тенгри.

И небо смотрело на него.

Бозкур ждал.

Он научился ждать рано — в том возрасте, когда другие мальчишки ещё дёргались, торопились, перебивали старших. Отец учил молчанием. Дядя Сарбас учил тем же. Степь добавила своё: она не терпит спешки — спешка в степи это смерть, это прыгнуть вперёд коня, это пойти на охоту без воды, это раскрыть юрту навстречу ветру, не проверив, откуда он.

Темир лежал спокойно. Жевал новый стебель — второй уже. Смотрел в небо.

Потом заговорил. Не поворачиваясь. Как будто говорил не Бозкуру, а Тенгри — просто так вышло, что Бозкур лежал рядом и слышал.

— Ты знаешь, что происходит между Текишем и Султан-шахом?

Бозкур думал секунду.

— Грызутся за Хорезм, — сказал он. — Брат на брата.

— Грызутся, — повторил Темир без выражения. — Хорошее слово. Два сына одной матери, и оба хотят один трон. Текиш сидит на севере, Султан-шах жмёт с юга. Между ними — земля, люди, дороги. И все эти дороги сейчас в крови.

Он помолчал.

— Когда два хана грызутся, Бозкур, их псы начинают кормиться сами. Без спроса.

Бозкур повернул голову. Смотрел на Темира — на неподвижный профиль, на белёный рубец под ухом, на тяжёлую линию скул.

— Псы, — сказал он. — Чьи псы?

— Сейчас уже ничьи. — Темир наконец посмотрел на него. Взгляд как удар кулаком в грудь — спокойный, тяжёлый. — Есть один такой пёс. Зовут Кулан-бек. Слыхал?

— Нет.

— Не удивительно. Он не из тех, кто хочет, чтоб его слышали. Из тех, кто тихо берёт. — Темир сел. Движение резкое, единое, как у человека, который сидит так же легко, как лежит. Обхватил колени руками, уставился на горизонт. — Раньше служил Текишу. Потом Текишу стало не до него — своих забот хватает. Кулан-бек взял двадцать, может, двадцать пять всадников. Людей проверенных, злых. И пошёл кормиться сам.

— Грабит?

— Собирает дань. — Темир чуть улыбнулся — не добро, не весело, а так, как улыбается человек, услышавший старую шутку. — Сам себя называет сборщиком. Приходит к каравану, говорит: плати за проход. Платят — уходит. Не платят — забирает всё и режет охрану.

— Далеко ходит?

— Вот в том и дело. — Темир повернулся к Бозкуру. — Раньше ходил на юге. Там его земля, там он знает все тропы. Но там сейчас горячо — Султан-шах двигает людей, не до беспечного хождения. Вот он и сместился. Пришёл сюда. К нам.

Последние два слова Темир произнёс без злости — просто обозначил факт. Но в этих двух словах Бозкур услышал всё: и ярмарка у Итиля с пустыми рядами, и три мёртвые лошади отца, и мать, которая топит кизяком, потому что на дрова не хватает.

— Где? — спросил Бозкур.

— В хорошем дневном переходе на юго-запад. Там, где Жёлтый овраг уходит в ложбину перед старым бродом. Знаешь то место?

— Знаю. Там ещё камень стоит. Большой, серый. Дед мой говорил — балбал, очень старый.

— Он самый. — Темир кивнул. — Там у Кулан-бека что-то вроде стана. Не юрты — просто место, откуда он выходит на дороги. Двадцать человек, от силы двадцать пять. Не войско — шайка. Хорошо вооружённая шайка, но всё равно шайка.

Бозкур молчал. Смотрел на горизонт — туда, на юго-запад, где стоял серый балбал и сидел человек по имени Кулан-бек, который решил, что кыпчакские пастбища теперь его стол.

— Ты сказал — шайка, — проговорил он медленно. — Но у них доспехи, кони. Опыт.

— Да, — согласился Темир легко.

— Ты пришёл ко мне не просто рассказать об этом.

— Нет.

Снова молчание. Другое, чем раньше. Плотнее.

Темир достал из-за пояса нож и кончиком лезвия начал чертить на сухой глине. Не сложно, не красиво, просто линии и точки. Бозкур наклонился. Смотрел.

— Через семь дней, — сказал Темир, — может, через восемь, по этой дороге пойдёт большой торговый обоз. Купцы из Ургенча. Идут на север, к Итилю. Везут ткани, медь, железо, немного пряностей. Охрана небольшая — они торговцы, не воины. Они остановятся на привал вот здесь. — Нож ткнул в точку. — У брода. Минимум на день, может на два — там вода, там есть место для скота. Все купцы останавливаются там. Это знают все.

— И Кулан-бек знает.

— И Кулан-бек знает. — Темир поднял взгляд. — Он выйдет к ним с двадцатью людьми. Потребуется плата. Купцы заплатят или нет — неважно. Важно вот что.

Он прочертил ещё одну линию — с другой стороны от точки-брода.

— Жёлтый овраг идёт вдоль всей этой дороги. Он глубокий, он заросший — там в этом году трава по грудь коню. Если двадцать всадников зайдут в него с ночи, до рассвета, они выйдут точно за спиной у Кулан-бека. Он будет смотреть на купцов. На купцов у него вся голова.

Бозкур смотрел на чертёж в земле.

Всё было просто. Такая простота, которая обычно или гениальна, или смертельно опасна, а чаще — и то, и другое сразу.

— Двадцать человек, — сказал он.

— Двадцать, от силы двадцать пять. Мне хватит. — Темир обтер лезвие о штанину и убрал нож за пояс. Говорил теперь ровно, без подъёма, как перечисляет хозяйство хозяин, который знает каждую голову скота. — Я уже прошёлся по аулам в радиусе двух переходов. Есть люди. Молодые, злые, голодные. Не вчерашние — те, кто уже бывал в деле. Знаешь братьев Асана и Усена? Сыновья старого Бекмурата с западного аула?

Бозкур кивнул. Близнецов знали все — двое высоких, широкоплечих, как два дерева, выросших из одного корня. Асан со шрамом на левой скуле, Усен с таким же — на правой. Зеркала. Говорили, что в последней стычке с волками из рода токсобичей эти двое вдвоём держали правый фланг, пока остальные разворачивались. Держали и не пустили.

— Асан пойдёт, — сказал Темир. — Усен пойдёт, куда Асан, там и он. Ещё есть Жаксыбек с солончакового аула — лучник, рука не дрожит. Есть Тилеу, он медленный, но в ближнем бою как стена. Есть ещё человек восемь таких, кого я знаю лично. Остальных наберём — в каждом ауле есть парни, которые хотят доказать, что они не хуже отцов.

— Много необстрелянных, — заметил Бозкур.

— Есть, — согласился Темир без смущения. — Поэтому их поставим назад. Их дело — не дать Кулан-беку уйти, когда он развернётся бежать. Загонщики. Волки позади.

Он снова посмотрел на Бозкура. Долго смотрел.

— А теперь про то, ради чего я сюда приехал. — Голос стал чуть тише. Не мягче — тише. Как степной ветер перед тем, как переменить направление. — У Кулан-бека и его людей — доспехи. Трофейные, разные, но железо есть у каждого. Кони хорошие — южная порода, не наша мелкая кость. Оружие. И то, что они уже собрали с других — серебро, может, немного, но есть. Всё это, Бозкур, купцы из Ургенча купят с удовольствием. Им далеко ехать. Им нужны лошади, им нужен металл. Заплатят живым серебром, не торгуясь.

Бозкур смотрел на него.

— Ты говоришь красиво, — сказал он.

— Я говорю честно.

— Красиво и честно — разные вещи.

Темир ничего не ответил. Только чуть двинул углом рта — не улыбка, но что-то похожее на уважение.

— Двадцать человек против двадцати пяти, — продолжал Бозкур. — Внезапность на нашей стороне. Оружие у них лучше. У нас — знание этого оврага. Кто из наших погибнет — как думаешь?

— Кто-то погибнет, — сказал Темир ровно. — Это не торговля. Это война. Маленькая, но война.

— И купцы.

— Купцы уйдут живые. Им мы ничего не сделаем — нам нужно, чтобы они вернулись в Ургенч и рассказали другим купцам, что эта дорога теперь безопасна. Это тоже цена, Бозкур. Долгая цена. Если мы очистим здесь один раз — следующим летом по этой дороге пойдут три обоза вместо одного.

Долгое молчание.

Облако — то самое, похожее теперь уже не на руку, а просто на белое ничто — медленно таяло у горизонта. Боз-Ат внизу снова фыркнул, переступил. Солнце всё так же грело лицо, но ветер с севера стал, кажется, чуть холоднее. Или это просто показалось.

— Когда собираешь людей? — спросил наконец Бозкур.

— Через два дня начну объезд аулов. — Темир поднялся. Одним движением, без усилия. Поднял с земли поводья Донена. — Через пять дней все должны быть у Трёх карагачей. Знаешь место?

— Знаю.

— Там распределим, кто куда. — Он взялся за луку седла, поставил ногу в стремя, поднялся. Сверху посмотрел на Бозкура — тот всё ещё сидел на земле, смотрел куда-то в сторону, думал. — Ты придёшь?

Бозкур поднял на него взгляд.

Деятнадцать лет. Лицо скуластое, крепкое — «как обух сабли», говорил отец. Пока гладкое, юношеское. Пока без той бороды, что придёт потом — жёсткой, дикой, испачканной в гари и чужой крови. Пока без всего, что ещё случится.

Но глаза уже были другими. Не мальчишечьими.

— Приду, — сказал он.

Темир кивнул. Развернул коня. Поехал вниз с холма — не торопясь, ровным шагом, как приехал.

Бозкур смотрел ему вслед, пока Донен не пропал за краем холма. Потом лёг обратно — на спину, руки под затылок, лицо в небо.

Тенгри смотрел на него.

Облака шли с севера. Ветер нёс запах дальних снегов.

Степь была такой же, как час назад. Трава, кузнечики, далёкий стервятник. Дым от юрты — тонкий, серо-голубой, кизяковый — всё так же поднимался к небу там, в низине, на самом краю взгляда.

Но что-то уже было не так, как час назад.

Что-то в воздухе изменилось. Или в нём самом.

Бозкур закрыл глаза. Лежал так ещё немного. Потом встал, свистнул Боз-Ату — конь поднял голову, пошёл к хозяину без понуканий, — взялся за гриву, прыгнул в седло.

Глава вторая. Дым очага

Аул встретил его запахами.

Это всегда так — сначала запахи, потом звуки, потом только глаза начинают разбирать детали. Так устроена степная жизнь: обоняние работает раньше всего остального, потому что в степи запах — это информация. Запах дыма — есть люди, есть тепло. Запах палёной шерсти — режут скот или стригут. Запах кислого молока — айран поспел. Запах мокрой кожи — выделывают шкуры.

Бозкур въехал в аул шагом, не торопя Боз-Ата. Конь сам знал дорогу — опустил голову, пошёл привычным путём между юртами, к своей коновязи у большого камня.

Аул был небольшой. Семь юрт, не больше. Чуть в стороне — загон для скота, жерди горбатые, кое-где подвязанные верёвкой там, где дерево рассохлось. Три лошади в загоне — мало, раньше было шесть. Овцы жались в кучу у западной стены загона, как делают всегда перед вечером. Старый пёс Басар лежал у порога родительской юрты — огромный, серый, в шрамах, как старый воин. Один глаз приоткрыл на звук копыт, убедился, что свои, закрыл обратно.

— Ака!

Арлан вылетел из-за юрты как камень из пращи. Три года, круглое лицо, загорелое до черноты, волосы торчат чубом — вылитый дед, только маленький и очень быстрый. В руке — отцовская старая камча, которую он таскал с собой повсюду. Штанов не было — как обычно.

Бозкур спрыгнул с коня в тот самый момент, когда Арлан добежал до него, и поймал сына на лету, подхватил под мышки, поднял. Мальчишка завизжал от восторга — пронзительно, радостно, без всякой причины, кроме той, что отец вернулся.

— Куда бегаешь без штанов? — сказал Бозкур.

— Жарко, — сказал Арлан авторитетно и немедленно потребовал: — Дай камчу.

— Она твоя.

— Ты взял.

— Я не брал.

— Взял, — настаивал Арлан с той железной уверенностью, которая бывает только у трёхлетних детей и старых ханов. — Вон она, в твоей руке.

Бозкур посмотрел на свою правую руку. Камча была в его правой руке — рука взяла её сама, когда он подхватывал сына. Усмехнулся. Отдал.

Арлан победно сжал плётку и тут же помчался обратно за юрту — по каким-то своим, недоступным взрослому уму делам.

В юрте пахло кизяком, полыньёю и варёным мясом.

Мать стояла у очага — невысокая, круглолицая, в тёмном платье и белоснежном кимешеке, который она всегда держала в чистоте, как бы ни было тяжело. Глаза прищурены от вечного дыма. Узловатые, деформированные пальцы ловко переворачивали плоские лепёшки на раскалённом камне — умай-нан, тонкие, с горелыми пятнами, такие, что хрустят на зубах.

— Садись, — сказала мать, не оборачиваясь. Всегда так — слышала его шаги ещё снаружи. — Голодный небось.

— Не очень.

— Садись, говорю.

Он сел. Мать поставила перед ним деревянную чашку с айраном, положила лепёшку. Руки двигались быстро, привычно, несмотря на больные суставы. Бозкур смотрел на эти руки — тяжёлые, потрескавшиеся, с белыми узлами на костяшках — и думал, что не может вспомнить, когда последний раз видел их спокойными.

В бесике у дальней стены тихо звякнули пуговицы.

Бозкур встал, подошёл.

Карлыгаш не спала — лежала на спине, смотрела в верхний обод бесика чёрными глазами-маслинами, огромными, серьёзными, будто думала о чём-то важном. Над ней покачивалась сушёная лапка филина — оберег. Пуговицы звякнули снова — от движения воздуха.

Бозкур медленно опустил руку. Положил указательный палец — мозолистый, твёрдый, в мелких порезах от кожаной работы — рядом с маленькой ладонью дочери.

Карлыгаш не смотрела на него. Смотрела вверх. Потом — без предупреждения, не глядя — крохотные пальцы нашли его палец и сжали. Крепко, как умеют сжимать только совсем маленькие дети — бессмысленно и безоговорочно.

Бозкур стоял так долго. Не двигался.

— Кушай, — сказала мать за спиной, тихо.

Он вернулся к очагу. Сел. Ел молча.

Отец пришёл позже — из загона, тяжело опираясь на посох с рогом архара. Вошёл в юрту, не снимая старого шерстяного халата, сел на своё место — справа от очага, там, где сидят хозяева. Левый белесый глаз смотрел в пустоту. Правый — на сына.

Долго молчал.

Потом кашлянул — надсадно, глубоко, тяжёлым грудным кашлем, от которого, казалось, вздрагивают жерди кереге. Отдышался. Вытер рот тыльной стороной ладони.

— Темир заезжал, — сказал он наконец. Голос хрипловатый, тёмный, как земля. — Видел его утром у западной тропы.

— Знаю, — сказал Бозкур. — Я с ним говорил.

Молчание.

— И что?

— Есть дело.

Отец смотрел на него одним зрячим глазом. Долго. Посох держал обеими руками — вертикально, как копьё. Кашель снова поднялся из груди, отец задавил его усилием, подождал.

— Темир — умный пёс, — сказал он наконец. — Зря не лает.

— Не зря, — согласился Бозкур.

— Опасно?

— Да.

Отец кивнул. Один раз, медленно. Как будто это слово ему и было нужно — не уговоры, не обещания, просто честный ответ.

— У тебя отцовская кость, Бозкур. — Голос стал тише, но не мягче. — Лицо крепкое, как обух сабли. Вот осядет степная пыль, возмужаешь,пустишь чёрную как смоль бороду — враги будут бледнеть от одного твоего взгляда.

Он помолчал. Снова кашлянул — коротко, зло, как будто стыдился этого кашля.

— Иди, — сказал он. — Но вернись.

Больше ничего не сказал. Отвернулся к очагу.

Айелин он нашёл у загона.

Она чинила жердь — стояла, наклонившись, обматывала трещину мокрой кожаной полоской, которая при высыхании стянется и удержит дерево. Две тяжёлые косы переброшены через плечо — чтобы не мешали. На конце одной тихо поблёскивала единственная серебряная монетка.

Услышала шаги — не обернулась сразу, дотянула обмотку до конца, завязала узел. Потом выпрямилась. Посмотрела на него.

У неё было лицо из тех, что не бросаются в глаза сразу. Не та красота, от которой мужчины теряют голову на торжищах и пишут плохие песни. Другая — тихая, ровная, как хорошо выделанная кожа: чем дольше смотришь, тем яснее видишь качество. Мягкий овал, спокойные тёмные глаза, чуть припухшие губы. Платок потемнел от дыма, камзол из овечьей шкуры

носился уже второй год — заплатки на локтях аккуратные, едва заметные, зашитые мелким стежком.

— Поел? — спросила она.

— Поел.

— Арлана видел?

— Отобрал у меня камчу.

Айелин чуть улыбнулась. Опустила глаза на жердь — проверила узел, удовлетворённо качнула головой.

— Темир приезжал, — сказала она. Не вопрос — просто слова. Она всегда знала. Аул маленький, степь открытая, чужая лошадь у твоей юрты — это уже новость.

— Приезжал.

Она подняла взгляд. Спокойный. Ждущий.

— Седлай Боз-Ата, — сказал Бозкур. — Поедем.

Закат начинался медленно, по-осеннему — без торопливости, без лишних красок. Просто небо на западе стало темнее, гуще, как будто кто-то подлил в синеву мёду, и оно начало наливаться — сначала желтизной, потом оранжевым, потом тем глубоким красно-золотым цветом, который бывает только в начале осени, когда воздух уже чист и холоден, а тепло ещё не ушло совсем.

Боз-Ат шёл наёмом — ровно, мощно, не требуя понукания. Айелин сидела впереди, прижавшись спиной к его груди, обе её косы летели назад, серебряная монетка билась на ветру. Бозкур держал повод левой рукой, правая лежала у неё на животе.

Они отъехали от аула на добрый переход — туда, где степь открывалась во все стороны и не было ничего, кроме травы, неба и этого медленного золотого заката.

Он придержал коня. Боз-Ат перешёл на ленивый, едва заметный шаг.

Степь молчала. Только ветер — тихий, уже прохладный — шёл над травой, и трава отвечала ему шёпотом.

— Говори, — сказала Айелин.

Он рассказал всё. Про Темира. Про Кулан-бека. Про Жёлтый овраг и купцов из Ургенча. Про двадцать человек и семь дней. Говорил коротко, без украшений — она не любила лишних слов, умела слышать суть.

Когда он замолчал, она долго не отвечала.

Боз-Ат переступил с ноги на ногу. Где-то далеко крикнула птица — коротко, тревожно, и снова тишина.

— Нет, — сказала Айелин.

Тихо сказала. Без слёз, без крика — просто «нет», как закрывают дверь.

— Айелин...

— Нет. — Она не обернулась. Смотрела вперёд, на закат. Пальцы её нашли его руку — ту, что лежала у неё на животе — и сжали. Крепко. Как Карлыгаш сжимала его палец в бесике. — Ты знаешь, что я скажу.

— Знаю.

— Тогда зачем спрашиваешь?

— Я не спрашиваю. Я говорю тебе.

Она молчала. Он чувствовал, как она дышит — чуть быстрее обычного, но ровно, не давая себе сломаться.

— Карлыгаш семь месяцев, — сказала она наконец. — Арлан ещё маленький. Твой отец кашляет каждую ночь так, что я слышу через войлок. Если ты не вернёшься...

— Вернусь.

— Если ты не вернёшься, — повторила она твёрдо, — кто будет резать скот? Кто починит загон до зимы? Кто...

— Айелин. — Он придвинулся ближе, прижался лбом к её виску. Почувствовал запах дыма и полыни в её волосах. — Послушай меня.

Она замолчала.

— Ты видишь, как мы живём, — сказал он тихо. — Три лошади. Мало овец. Отец не может работать. Мать прячет лучшие куски в мою сумку, думает, я не замечаю — замечаю. Это зима, Айелин. Она придёт через два месяца. Я не могу встретить её с тем, что есть.

Она не ответила. Но пальцы не отпустили его руку.

— Темир — не дурак, — продолжал Бозкур. — Ты знаешь его. Он не пойдёт туда, если не уверен. Он уже всё просчитал. Нас будет двадцать, может больше. Внезапность на нашей стороне. Это не война — это один удар. Один раз.

— Один раз, — повторила она почти беззвучно.

— Один раз, — подтвердил он. — И мы закроем зиму. И ещё одну зиму. Я куплю лошадей. Хороших. Починю загон нормально, не жердями. Карлыгаш вырастет, не зная голода.

Долгое молчание.

Закат тем временем дошёл до своего пика — небо горело от горизонта до горизонта, глубокое, тяжёлое, красно-золотое. Трава стала медной. Тень от Боз-Ата тянулась на восток длинной тёмной полосой.

— Я боюсь, — сказала Айелин. Просто. Без стыда.

— Я знаю, — сказал он.

— Ты не боишься?

Он подумал — честно, не торопясь с ответом.

— Боюсь, — сказал он наконец. — Но страх — это не причина стоять.

Она медленно обернулась. Первый раз за весь разговор — повернулась к нему лицом, насколько позволяло седло. Смотрела близко, в упор. Искала что-то в его глазах — что именно, он не знал, но сидел смирно, не прятал взгляда.

Она нашла, что искала. Или решила, что нашла.

— Вернись, — сказала она. Не просьба — приказ. Тихий, как всё, что она говорила. — Ты слышишь меня? Вернись.

— Слышу.

Она снова отвернулась к закату.

Помолчала. Потом — почти неслышно, себе под нос:

— Одна серебряная монетка на всю косу.

Он не сразу понял. Потом понял.

— Будет больше, — сказал он.

— Обещаешь?

— Обещаю.

Она чуть качнула головой, принимая его слово. Серебряная монетка тихо звякнула на конце косы.

Бозкур не стал останавливать коня. Боз-Ат шёл ровным, мерным шагом — качался тяжёлый круп, копыта мягко шуршали по сухой полыни. Этот шаг отзывался в их телах ленивой, привычной по качанию бесика волной.

Бозкур бросил повод на луку седла — конь и без рук знал, что нужно просто идти вперёд, в самую гущу раскалённого, багрового заката. Бозкур перехватил Айелин за талию, приподнял над жёстким кожаным сиденьем и одним сильным движением развернул лицом к себе.

Она тихо ахнула, когда её широкие штаны и полы камзола задрались, а колени обхватили его бедра. Ей пришлось крепко вцепиться пальцами в его плечи, лоя равновесие. Теперь они сидели вплотную, зажатые между передней и задней лукой седла. Лицо Айелин было совсем близко — её дыхание пахло кумысом и степным ветром, а в тёмных глазах дрожало отражение горящего неба.

— Бозкур, он же идёт... — выдохнула она, но в голосе не было страха перед падением. Только глухая, нарастающая внутри дрожь.

— Он не споткнётся, — ответил он, утыкаясь лицом в её шею.

Его огрубевшие ладони скользнули под холщовую рубаху, сминая тёплую, гладкую кожу на её пояснице. Осенний воздух снаружи охлаждал спину, но здесь, в кожаном седле, на нагретой спине четырёхлетки, становилось невыносимо жарко. Страх, который она только что высказала вслух, и суровая решимость Бозкура отлились в одну общую, злую жажду — доказать степи, что они живы. Здесь и сейчас.

Когда он резко, по-мужски плотно вошёл в неё, Айелин судорожно втянула воздух сквозь зубы и до боли зажмурилась, утыкаясь лбом в его жёсткую скулу. Боз-Ат даже не сбился с шага. Наоборот, мерный, тягучий ритм лошадиного хода подтолкнул их друг к другу.

Каждый шаг коня отзывался внутри них глубоким, тяжёлым толчком. Это было странное, первобытное движение: земля двигала коня, конь двигал седло, а они двигались внутри этого ритма, словно растворяясь в густеющем янтарном воздухе. Айелин поймала этот такт. Она начала двигаться навстречу — медленно, тягуче, крепко сжимая его своими сильными ногами.

Степной закат дошёл до самого пика. Красный свет заливал их лица, делая кожу медно-золотой. Айелин откинула голову назад, её косы растрепались, летая в такт толчкам. Из-под прикрытых век катилась тонкая, блестящая на солнце слеза — горькая слеза женщины, которая отдавала мужа войне, но сейчас забирала его себе целиком, до капли.

Бозкур дышал хрипло, ловя губами её открытую шею, пробуя на вкус горьковатый пот. Шаг коня становился медленнее, тяжелее, словно сама степь помогала им тянуть это неистовое, последнее мирное мгновение. В эти минуты Бозкур чувствовал такую дикую силу в костях, что там Кулан-бек со своими доспехами — казалось, он мог бы остановить сам ход хорезмийских караванов.

Всё закончилось одновременно с солнцем. Оно окончательно упало за край земли, и степь вокруг них мгновенно накрыли прохладные, густые синие сумерки.

Боз-Ат остановился сам, как будто выждав нужный момент. Конь шумно выдохнул через ноздри и потянулся мордой к сухой траве.

Айелин бессильно опустила голову на плечо Бозкура, её тело под камзолом всё ещё мелко вздрагивало, а сердце стучало так же бешено, как копыта во время намёта. Бозкур бережно укрыл её полами своего тёплого чапана, прижимая к себе, защищая от потянувшего с севера ночного холода.

Они сидели так долго, пока дыхание не выровнялось. Затем он аккуратно пересадил её обратно, лицом к дороге, подобрал повод и тихо тронул коня.

Когда возвращались, было уже темно. Настоящая степная темнота — без городских огней, без лишнего, только звёзды сверху, крупные и равнодушные, и запах ночной травы.

Айелин молчала всю дорогу. Но сидела так же — прижавшись спиной к его груди. И его рука лежала у неё на животе.

У коновязи он помог ей спешиться. Она поправила платок, одёрнула камзол. Обернулась.

— Пять дней, ты сказал, — проговорила она.

— Через пять дней выдвигаемся.

Она кивнула. Посмотрела на него ещё раз — долго, спокойно, тем взглядом, который он не умел читать до конца и, наверное, никогда не научится.

Потом пошла к юрте.

Уже у полога остановилась. Не обернувшись:

— Я положила тебе в сумку вяленого мяса. И ещё лепёшки. Не трогай раньше времени.

— Не трону.

— Обманешь.

— Обману, — согласился он.

Она зашла в юрту. Полог опустился за ней.

Бозкур постоял у коновязи. Посмотрел на звёзды. Боз-Ат рядом тихо фыркнул.

Из родительской юрты донёсся ночной кашель — надсадный, долгий, тяжёлый.

Тишина.

Потом — едва слышно — тихий голос матери. Она всегда молилась на ночь, одними губами, не словами — просто дыханием, направленным в небо Тенгри.

Бозкур слушал. Поднял голову к звёздному небу, посмотрел на прекрасную луну и поймал себя на мысли: неужели Тенгри в одиночку создал это всё?

Потом зашёл в юрту.

Глава третья. Молоко и железо

Ему снилась вода.

Большая вода — без берегов, без брода, серая, как остывшая зола. Она никуда не текла. Она просто дышала — поднималась и опускалась, медленно, всей тяжестью, и в этом дыхании было что-то от спящего зверя. Над ней кричали белые незнакомые птицы, и голоса у них были не степные. Смех. Холодный, женский, чужой.

Бозкур стоял в этой воде по колено и не понимал, на что смотрит. Он никогда не видел воды, у которой нет другого берега.

Проснулся резко, как выныривают.

Юрта спала. В темноте дышали трое: Арлан — раскинувшись, по-хозяйски, выставив пятку отцу в бок; Карлыгаш в бесике — почти неслышно, по-птичьи; пуговицы над ней изредка тихо звякали. Айелин лежала спиной к нему, и единственная серебряная монетка на конце её косы лежала на войлоке холодным кружком.

Бозкур полежал ещё немного. Потом встал — тихо, как встают охотники — и вышел.

Степь стояла седая. За ночь лёг первый иней — тонкий, неуверенный, он держался только в тени и в складках травы, но он лёг, и это меняло всё. Иней — это письмо. Зима писала: иду. Боз-Ат у коновязи повернул голову, фыркнул тёплым. Бозкур положил ладонь на храп коня, и от этого простого тепла что-то улеглось внутри.

В родительской юрте мать уже подняла огонь.

Утренний луч вошёл через шанырак — косой, плотный, в нём кружилась пыль и искры. Шанырак был чёрный, не от грязи: от сорока лет дыма. Такой не скоблят и не моют. Кара шанырак — как имя рода: чем темнее, тем длиннее. Луч стоял сейчас у самой двери, на вытертом до земли крае текемета. Мать жила по этому лучу точнее, чем шаман живёт по духам: луч у двери — доить, луч на казане — есть, луч умер — загоняй скот. Бозкур вырос по этим часам.

Завтракали молча. Отец получил курт, размоченный в горячей воде. Айелин подала ему пиалу первой — двумя руками, с поклоном, не поднимая глаз. Не из страха: из порядка. Арлан ел так, как делал всё, — стремительно и с потерями. Талкан был у него на щеках, на лбу и почему-то на затылке.

— А Кулан-бека ты убьёшь? — спросил он вдруг с набитым ртом.

Стало тихо. Луч из шанырака дополз до края очага и стоял там, дрожа.

— Откуда слово взял?

— Шокан сказал. Его отец сказал, что придёт Кулан-бек и всех овец заберёт. А ты его убьёшь.

Аул маленький. Степь открытая. Слова ходят по ней быстрее всадников.

— Ешь, — сказал дед.

Слово упало, как камень в воду. Арлан поковырял талкан и уточнил деловито:

— Тогда привези мне саблю. Маленькую. Настоящую.

Бозкур посмотрел на сына. На круглое, перемазанное лицо, на упрямый дедов чуб, на руку, в которой даже за едой была зажата камча.

— Привезу.

Арлан кивнул — коротко, как купец, закрывший сделку — и вернулся к еде. Мать у очага отвернулась и стала мешать то, что мешать было не нужно. А между лопаток у Бозкура прошёл тонкий холод — будто кто-то приоткрыл дверь, которой в юрте не было.

После еды отец сказал «сядь» и снял куяк с подставки.

Они работали на мужской половине, у света из шанырака. Доспех лежал у отца на коленях — старый степной ламеллярный, железные пластины на кожаной основе, пластина внахлёт на пластину, как чешуя, как годы. Пластины потемнели от времени, на груди — вмятина с

расходящимися лучиками по соседним пластинам. Сыромятные ремешки за годы пересохли; новые, нарезанные с вечера, мокли в плошке с водой.

— Держи, — говорил отец. — Туже. Не так. Вот так.

Арлан примостился у отцовского колена и смотрел. Рядом лежал Басар — огромный, шрамированный, старый, как сам загон. Один глаз пса был приоткрыт: работа шла в его владениях, порядок требовало блюсти. Арлан обнял пса за шею, пёс вздохнул и не пошевелился.

Пальцы у отца были в узлах, и вены поверх узлов, и старые шрамы поверх вен. Но в ремешках эти пальцы не путались ни разу. Бозкур смотрел и думал: руки помнят то, что человек уже забыл.

Он положил палец на вмятину на груди.

— Хорезмиец?

— Копьё, — сказал отец. Втёр бараний жир в пластину. — Он целил в сердце. Дурак. В степи надо целить в коня. Пеший латник в степи — уже мёртвый. Просто ещё бегают.

— А человек на коне?

— Человек на коне в степи — бог. Пока не упал.

Они помолчали. Бозкур ждал тишины — отец всегда замолкал. Но отец не замолчал. Он смотрел в доспех и говорил тем же голосом, каким говорил «туже тyani»:

— Я в свой первый набег обмочился. В седле, в самом начале сшибки. Тепло стало. Потом стыдно. Потом прошло.

— Что прошло — стыд?

— Всё проходит. — Отец завязал ремешок, подёргал. — Кроме того, что приходит ночью.

— Что приходит?

— Глаза. — Отец поднял голову. Зрячий глаз смотрел на сына, слепой — в огонь. — Не смотри им в глаза, когда режешь. Глаза потом приходят.

Он сказал это и снова опустил голову к работе. Кашель поднялся из груди, отец задавил его, как давят уголь на войлоке.

— Мой левый уже ничего не видит, — добавил он погодя. — А эти всё равно приходят. Арлан, до сих пор молча слушавший, поднял голову от Басаровой шеи:

— Чьи глаза?

— Твои, — сказал дед. — Когда вырастешь.

Арлан переварил это и снова обнял пса. Пёс терпел.

Они перетянули весь куяк, пластину за пластиной, и когда закончили, доспех зазвучал иначе — не дребезжал, а шелестел, тяжело и слитно, как шелестит под ветром старый карагач. Отец взвесил его на руках.

— Велик тебе в плечах, — сказал он. — Это ничего. Плечи догонят.

Мать и Айелин возились у юрты — за стеной. Голоса их приносил ветер кусками, вместе с запахом палёной шерсти: женщины колотили прутьями осеннюю стрижку, взбивая из неё степь — колючки, пыль, мелкий сор. Из этой шерсти будет войлок. Из войлока — зима без смерти.

— ...Мужчина в этом доме гость, келин. Пришёл, поел, уехал воевать. Стены — это мы.

— Ветер валит юрту, ана.

— Потому кереге и гнут из тальника, а не рубят из дуба. Дуб ломается. Тальник гнётся и стоит.

Тут они почувствовали его — обе разом, не оборачиваясь. Прутья не остановились. Бозкур взял с кереге шило и вышел, и долго чувствовал спиной молчание — плотное, женское, в которое мужчине входа нет.

Змею он увидел раньше, чем понял, что видит.

Полдень выдался тёплым, последним тёплым, и она вышла на это тепло — щитомордник, толстый, осенний, медленный от холодных ночей. Тёк через утоптаный двор бурой плетёной полосой — прямо к тени юрты. К бесику.

Нож оказался в руке раньше мысли.

Вот это и было страшно — потом, когда Бозкур это вспоминал. Не змея. То, что между «увидел» и «нож в руке» не поместилось ничего. Ни решения, ни вдоха. Рука сделала всё сама, и тело уже шло вперёд мягким охотничьим шагом, и мир сузился до бурой полосы на земле — остального мира не было.

— Стой.

Мать не крикнула. Она сказала это тем голосом, которым останавливают понёсшую лошадь. Бозкур замер на полушаге.

— В дом вошла — гостья. Гостье — белое.

Она зашла сбоку с пиалой айрана в узловатых руках и плеснула белым змее на плоскую голову — не боясь, со старушечьим кряхтением наклонившись. Так велел обычай: змею, вошедшую к жилью, не убивают. Её поят белым и провожают с миром, не то обида её останется в доме дольше людей. Айелин — Бозкур не заметил, когда она успела, — уже стояла у бесика, между люлькой и всем остальным миром, прут в руке.

Щитомордник замер под белыми каплями. Потом повернул — с достоинством существа, знающего себе цену — и потёк прочь. Мать шла следом, не подгоняя, только обозначая прутom дорогу. У края двора змея ушла в жухлую траву.

На юго-запад.

— Гостья, — выдохнула мать.

— Или весть, — сказал отец из тени.

Бозкур разжал пальцы и убрал нож. И только тут заметил взгляд Айелин — она смотрела не вслед змее. Она смотрела на его правую руку. Внимательно, чуть прищурясь, как смотрят на чужую вещь, найденную в своём сундуке. Она не видела, как он достал нож. Никто не видел. Он сам не видел.

Она ничего не сказала. Отвернулась и ушла к бесику.

К вечеру он сел за стрелы.

Высыпал наконечники на кошму и пересчитал. Железных было шесть. Пересчитал ещё раз — шесть. Железо не размножается от пересчёта. Два срезня с широким жалом, четыре узких, злых, для доспеха. Он сидел и правил древки над углями, приматывал жилой подрезанные орлиные перья, и думал о том, что у людей Кулан-бека железо есть на каждом, с головы до седла, а у него железа — шесть раз по одному выстрелу.

Ничего. Стрел много не у того, у кого их много. А у того, кто не мажет.

Арлан сидел рядом и подавал перья — по одному, торжественно.

— Почему орлиное? — спросил он. — Гусь тоже птица.

— Орёл знает, куда летит.

Арлан переварил это, кивнул с серьёзным видом и больше не спрашивал. Потом лёг — на полуслове, посреди движения, как засыпают только трёхлетние, — со щекой на отцовской кошме и камчой в кулаке.

Бозкур укрыл его полкой чапана. И долго не работал. Просто сидел и смотрел: щека, перепачканная за день, чуб, кулак с камчой, ресницы.

Запомни это, сказал голос.

— Помню, — ответил Бозкур вслух.

Кобылу доили в сумерках — последние дойки года. Эта работа за три года слаженной жизни стала безмолвной: Бозкур подпускал жеребёнка, давал кобыле отдать молоко, потом мягко оттягивал его в сторону. Жеребёнок жевал рукав, тёплый, глупый, обиженный. Айелин сидела под кобылой на корточках, и струи звенели в подойник — туго, в два голоса.

Потом она перелила молоко в сабу и взяла писпек.

Кумыс надо бить. Айелин колотила так, что саба ходила ходуном. Так не взбивают кумыс. Так вбивают слова, которые нельзя сказать.

Бозкур подошёл и накрыл её руки своими — поверх, на гладкой рукояти. Руки остановились.

— Сколько вас будет? — спросила она, не оборачиваясь.

— Два десятка. Может, больше.

— Кто рядом с тобой встанет?

— Темир.

Она помолчала.

— Темир злой. Злые — осторожные. — И, помолчав ещё: — Вернись до большого снега.

По насту раненых не возят.

Она сказала это ровно, как говорят «закрой дверь, дует». От этой ровности у него свело что-то в груди — крик был бы легче.

— Ты так и не сказала «да», — проговорил он.

— А ты спрашивал?

— Я не спрашивал. Я говорил тебе.

Между ними повисло молчание. писк тихо капал.

— Меня зима спросила, — сказала Айелин наконец. — Я зиме и ответила.

Она высвободила руки — не зло, просто высвободила — и снова стала бить кумыс, теперь мерно, правильно, как надо. Они стояли совсем близко, плечо к плечу, и между ними помещалась вся предстоящая зима.

Ночью в юрте горел жирник — черепок с бараньим жиром и фитилём из скрученной кошмы. Огонёк с ноготь, копотный, и тени уюков дрожали на войлоке, как рёбра зверя, внутри которого они жили.

Бозкур лежал с закрытыми глазами и дышал ровно. Он не спал.

Айелин сидела у жирника с его чапаном на коленях и шила ворот — там, где шов нужен крепким. Шила дольше, чем требует шов. Потом отложила иглу, достала из своего сундучка кожаный мешочек и вынула оттуда: жёсткий чёрный волос Арлана из первой стрижки, пуховый волосок Карлыгаш. Подумав, вытянула из-за виска свой — долгий, живой — и перекусила у корня.

Три волоса скрутила в одну нить, вложила под подгиб ворота, зашила — мелким, частым стежком, проговаривая что-то одними губами. Бозкур не слышал слов. Он знал только, что женщины этой степи шепчут такое Умай-ане — белой матери, которая ходит за детьми и за теми, кого любят.

Есть вещи, которые женщина должна сделать одна. Как мужчина должен один умирать.

Она задула жирник, легла — спиной к нему, как всегда. Спина её была тёплой, ровной стеной. Он лежал за этой стеной и складывал темноту в себя, вещь за вещью — как складывают перемётную суму перед долгой дорогой.

Дыхание Арлана — частое, щенячье, с почмокиванием. Дыхание Карлыгаш — тонкое, птичье, на самом краю слуха. Звяк пуговицы. Скрип кереге на ночном ветру. Вдох Басара за войлоком. Далёкий, через два войлока и двадцать шагов, ночной кашель отца. Запах: молоко, полынь, кожа, дым, её волосы.

Запомни это.

Он складывал всё это в себя, пока темнота не сомкнулась над ним, как вода. Большая вода, серая — но в эту ночь она стояла тихо и не звала.

Поднялись до света.

Сборы были короткие — всё собрано с вечера. Куяк лёг за седло, перемётные сумы мать набила так, что ремни стонали. Подпрыгну Айелин затянула сама, обошла коня, просунула два пальца под ремень — и только тогда отступила.

Мать вышла с дымящимся пучком адыраспана. Сухая трава тлела горько, белым едким дымком, и мать пошла кругом — вокруг сына, вокруг коня, очерчивая их дымом от всего, что без имени:

— Алас, алас... От всякой беды — алас...

Потом надела сыну на шею тумар — маленький кожаный квадрат, ещё тёплый от её рук.

— Земля из-под порога и зола очага. Чтобы дорога помнила, откуда ты.

Она подала пиалу молока — двумя руками. Он выпил до дна. Белая еда — белая дорога.

— Ақ жол, — сказала мать. — Белой дороги, сынок.

Голос не дрогнул. Дрогнули руки, принимая пустую пиалу — но у неё всегда дрожали руки, и можно было думать на болезнь.

Отец вышел последним. Нёс свёрток — длинный, в промасленной коже. Дедова сабля пошла из неё неохотно, как из ножен, и в сером предрассветном свете по клинку повело волной — тот самый узор, текучий, живой. Лёгкая, чуть изогнутая, выношенная под конную руку тремя поколениями.

Отец не протянул её. Вложил в руки сына и сверху накрыл своими — узловатыми, тяжёлыми.

— Не дарю. Даю. Вернёшь сам. В руки мне.

— Верну.

Отец кивнул и отпустил.

Айелин вынесла Арлана — сонного, тёплого, замотанного в лисий малахай, из-под которого торчал один нос. Поставленный на землю, он качнулся, разлепил глаза, осознал происходящее — и полез рукой за пазуху. Достал камчу. Протянул.

— На. Бить плохих. Потом отдашь. Это не подарок.

— Не подарок, — согласился Бозкур и заткнул камчу за пояс — детскую плётку рядом с родовым булатом.

Перед тем как сесть в седло, он откинул полог своей юрты и наклонился над бесиком. Карлыгаш спала. Он опустил палец рядом с её ладонью — и подождал.

Ручка не шевельнулась. Дочь спала глубоко, по-птичьи легко.

— Спи, ласточка, — сказал Бозкур и вышел.

Айелин стояла у стремени. Протянула руку и поправила ворот — тронула пальцами то место, где под подгибом лежала нить из трёх волос.

— Шов держит, — сказала она.

— Знаю, — сказал он.

Он не знал. Он чувствовал это ночью, сквозь ресницы. Но «знаю» было правильным словом, и по её глазам он увидел, что она поняла и это.

Больше она не сказала ничего. Всё было сказано три дня назад, на закате.

Он взялся за гриву и поднялся в седло.

«Не оглядывайся, — говорил когда-то старый Сарбас. — Кто оглядывается у порога, тот половину себя оставляет дома. А в дело надо ехать целым».

Боз-Ат пошёл шагом, потом — налётом. Басар проводил их до гребня первого холма — молча, по-рабочему — и там сел: дальше начиналась не его земля. Свои провожают до границы запаха.

Шолпан, утренняя звезда, истаивала в белеющем небе. Солнце поднялось за левым плечом, и тень — коня и всадника, слитая в одно, длинная, узкая — легла перед ними на траву и поехала первой. На юго-запад. Туда, куда ушла змея.

Бозкур ехал за собственной тенью и не оглядывался.

Запомни и это.

Глава четвёртая. Холодный ключ

К Трём карагачам Боз-Ат вышел по мёртвой реке.

Русло лежало в степи, как сброшенная змеиная кожа — серое, потрескавшееся плитами такры, и копыта стучали по нему, как по черепкам. Берега поднимались с двух сторон в полтора конских роста: река умерла, но могила её осталась дорогой. Всадника в русле не видно из степи, пока не подойдёшь к самому краю. Темир выбирал место не для красоты.

Стоянку Бозкур почуял раньше, чем увидел.

Дома его тоже встречали запахи — но дома они складывались в жизнь: кизяк, молоко, полынь. Здесь те же самые кости были сложены в зверя. Конский пот, вьёвшийся в войлок и в людей. Прогорклый бараний жир, которым мажут тетивы и сапоги. Ржавое железо. Дым из ям. И поверх всего — плотный дух двух десятков мужчин, которые давно не видели воды и не считали это бедой.

С обрыва упал свист — короткий, в два пальца. Из камыша на правом борту поднялся человек с луком, уже натянутым, посмотрел, опустил.

— Тебя от солончака ведут, — сказал он вместо привета. — Скажи спасибо, что мордой на Темира похож не был.

Три карагача стояли над руслом — три старых вяза, кривые, как пальцы старика, выросшие из одного корня. Единственное дерево на день пути. Под ними — коновязь из натянутого аркана, кошмы, седла головами в круг. Огонь горел в ямах, нарытых в дно русла, чтобы пламя не высывалось над землёй; дым от сухого кизяка шёл жидкий, рваный — такой за версту не прочтёшь.

Бозкур пересчитал людей — сам не заметив, что считает. Семнадцать у огней. Один в камыше. Значит, ещё двое где-то в степи, в седле. Два десятка.

Кто-то спал лицом в седло, как убитый. Кто-то ел с ножа полусырое мясо. Голый по пояс детина давил вшей по шву рубахи и кидал в огонь — вши трещали. У дальней ямы резались в асыки, и оттуда орали:

— Стрелу тебе в задний проход, Бошай! Третий раз альчик подменяешь, шакалье семя!

— Докажи.

— Сейчас ножом докажу!

— Тихо вы, — лениво сказал кто-то из темноты. — Темир услышит — обоим вгонит. Одной стрелой.

В стороне от всех сидел Тилеу — огромный, неподвижный, как валун, который степь забыла закопать. Он водил бруском по широкому ножу — медленно, ровно, как ходит жёрнов, — и один из всего лагеря не поднял головы на приезжего. У соседнего огня правил стрелы сухой узкоглазый Жаксыбек: этот глянул, кивнул на палец и вернулся к стрелам. У лучников приветствия короткие.

Темир поднялся одним движением — без суеты, без лишнего, как всё, что он делал. Отсвет огня лёг на стальные наручи, снятые когда-то с мёртвого хорезмийца, — единственное чистое железо на всю стоянку: за трофеем Темир ходил лучше, чем за собой. Полосатый рубец под ухом, камча со свинцовым грузилом за поясом, найза воткнута у кошмы — стоит, как часовой.

Он оглядел Бозкура — не лицо. Коня. Скатку куюка за седлом. Рукоять у левого бедра. Пересчитал, как пересчитывают пригнанный скот.

— Приехал.

— Приехал.

— Булат отец дал?

— Дал.

— Хорошо. — Темир кивнул на коновязь. — Железо надёжнее людей. Слезай.

Близнецы подошли разом и встали с двух сторон — зеркально, как отражения, не сговариваясь. Высокие, плечистые, лица одинаковые до жути, и на лицах — одинаковые шрамы, только в разные стороны: у одного белая полоса на левой скуле, у другого на правой. Косы тоже различались: у первого перевязана чёрной кожей, у второго — красной тряпичей. Так их и различали те, кто не успевал разглядеть скулы. За плечом у чёрного висел тяжёлый топор-балта на длинной рукояти. В руке у красного — роговой лук, тугой, с насечкой по рогам.

— Покажи железо, — сказал Асан басом, медленно, как камни ворочают.

Бозкур спешился и раскатал куяк на кошме. Братья присели над ним с двух сторон и пошли по пластинам ногтями — щёлк, щёлк, — как лошадиные барышники по зубам.

— Перетянут свежей сыромятью, — сказал Асан.

— Вчера тянули, ремешки ещё сырые, — быстро, на полтона выше, подхватил Усен. — Отец тянул?

— Вместе.

Асан положил палец на вмятину на груди — широкую, с лучиками по соседним пластинам.

— Копьё.

— Гранёный, хорезмийский, — закончил Усен. — Тот, кто его носил, — жив?

— Жив. Это отцов.

Асан медленно кивнул:

— Железо, которое один раз не дало умереть...

— ...не подведёт и во второй, — договорил Усен. — Железо помнит добро. — И тут же вскинулся: — А булат? Булат покажи.

— Булат не девка, — сказал Бозкур. — Щупать не дам.

У огня заржали. Усен вспыхнул, дёрнулся — Асан, не глядя, положил брату на плечо ладонь размером с лопату:

— Он прав.

И Усен погас, как огонь, на который кинули кошму.

Темир тем временем выдернул из-за коновязи кого-то длинного, длиннорукого и поставил перед Бозкуром, как жердь.

— Аян. Взял по дешёвке в вырезанном ауле, — сказал он ровно, как говорят о купленной верёвке. — Жрёт как мышь, конь под ним быстрее сплетни, а убьют — оплакивать некому. Чистая экономия на поминках.

У огня снова заржали. Парень вскинул подбородок — лисий малахай, явно переживший не одну голову, сполз ему на брови, и он вздёрнул его резким кивком, как конь сгоняет муху. Рука легла на черен охотничьего ножа. Сабли на поясе не было, и пояс это знал.

— Аян, — повторил он сам. Голос дал петуха на середине имени; парень насупился и закончил октавой ниже: — Сын Серикбола.

Никто не засмеялся над петухом. Над именем отца из вырезанного аула не смеются даже такие люди.

Бозкур посмотрел не на него — на коновязь:

— Который твой?

— Мышастый! — Аяна прорвало, как прорывает запруду. — Тарпан, я его сам брал, сам объезжал, он дрофу влёт достаёт, я у солончакового аула на спор троих обошёл, у них кони сытые, а мой...

— Хороший конь, — сказал Бозкур.

Аян замолчал разом, как налитый до краёв. Этого хватило.

К сумеркам сели в круг у малой ямы — Темир, близнецы, Тилеу, Жаксыбек, Бозкур, ещё трое старших. Аян втиснулся за спинами, и его не прогнали: кто слушает, тот меньше переспрашивает.

Темир достал нож и начал чертить по сухой глине — так же, как чертил тогда, на холме. Обрубок безымянного пальца ложился на черен привычно, по-своему.

— Караван из Ургенча будет у брода послезавтра. Кулан-бек стоит за Жёлтым оврагом, у балбала, и ждёт его, как жених невесту. А вот это, — нож ткнул в глину ближе, — его дозор. Восемь всадников. Ходят петлёй: дорога, солончак, брод. И каждое утро, когда солнце поднимается на две ладони, спускаются поить коней в балку Холодный ключ. Единственная живая вода на переход.

— Полгода им тут никто не огрызался, — продолжал он. — Ходят сыто. Шлемы у сёдел, луки в саадаках, подпруги ослаблены. Привычка. Привычка убивает быстрее стрелы.

— Откуда знаешь, как ходят? — спросил Асан.

— Я два утра лежал в камыше и смотрел, — сказал Темир. — Знаю их в лицо. Знаю, кто как сидит, у кого конь засекается и кто чешет задницу, не доезжая до воды. У старшего наручи — как мои. Будут вторые.

Кто-то хмыкнул. Темир не улыбнулся.

— Дозор — глаза Кулан-бека. С живыми глазами мы в Жёлтый овраг не сядем: заходить надо с ночи, а ночь в степи прозрачная. Выбьем глаза — он слепой до самого брода. Но запомните. — Нож воткнулся в глину и остался стоять. — Ни один не уходит. Один ушёл — Кулан-бек снялся или насторожился, и всё дело коню под хвост. Вместе с зимой, ради которой вы сюда пришли.

Он выдернул нож и повёл две черты — борта балки.

— Холодный ключ. Камыш — конному по макушку. Дно у воды — чёрная няша, ключ бьёт круглый год, не пересыхает. Конь вязнет по бабки на втором шаге. Тропа к воде одна. Они в неё входят гуськом — мы закупориваем оба конца, как бурдюк.

— Усен с тремя луками — левый борт, — сказал Темир. — Правый...

— Правый мне, — сказал Бозкур.

На него посмотрели. Он говорил ровно, как считают овец на ночь:

— У меня шесть железных наконечников. Костяной их стёганку не возьмёт. Шесть наконечников — шесть выстрелов, мазать нельзя. С правого борта, когда они спешатся к воде, — спины. По спине я не промахнусь.

Стало тихо. Потом Темир медленно кивнул:

— Спина — самая честная цель на войне. Кто говорит иначе — не воевал.

Жаксыбек, не поднимая глаз от своих стрел, перекинул через круг что-то малое и тяжёлое. Бозкур поймал в кулак: два железных наконечника. Узких. Злых.

— Восемь, — сказал Жаксыбек. Это было первое его слово за вечер.

— Асан, Тилеу, ещё четверо — горло тропы, — продолжал Темир. — Топоры и копья. Кого посыплет с коней — ваши. Я с двумя замыкаю вход. Бьём, когда половина слезет к воде и снимет шлемы. Человек, который зачерпывает воду, — самый мирный человек на свете. Таким и должен умереть.

— А я? — Аян протолкнулся между спинами. Малахай сполз, он вздёрнул его кивком. — Я с лучниками! Я дрофу влёт...

— Ты — кони, — отрезал Темир. — Все наши, два десятка голов, в овражке за спиной. Держишь, поишь, морды — в торбы. И если хоть одна тварь заржёт, пока мы лежим в камыше, — я тебе лично стрелу в проход вгоню. Понял?

Аян сглотнул.

— Понял.

— Не куксись, малой, — сказали из темноты. — Это у Темира ласка такая.

Заржали — коротко, вполголоса: лагерь уже жил по ночному уставу. Бозкур подождал, пока стихнет, и сказал через огонь:

— Возьмёшь и моего. Боз-Ат чужих рук не любит. Удержишь его — удержишь любого. Аян выпрямился так, словно ему на пояс повесили саблю.

— Тела — в няшу, под камыш, придавить, — закончил Темир. — Стервятник в небе — тот же дым: за полдня пути видно. А Кулан-бек небо читать умеет. Коней дозора уводим руслом. Выходим затемно, по холоду. Всё.

Он стёр чертёж ладонью — одним движением, как стирают день, — и глина снова стала просто глиной.

Лагерь стихал по-волчьи: без команды. Асыки умолкли. Кто-то уже храпел. Только Тилеу всё водил брусом по ножу — ровно, неторопливо, как идёт сердце.

Аян подсел к огню Бозкура — бочком, как подсаживается собака, которую гоняли от костров. Долго молчал, что стоило ему, судя по лицу, дорого. Потом сказал — не Бозкуру, огню:

— Отец обещал сковать мне саблю. После первого настоящего дела.

Он сказал «обещал» так, что было слышно время этого слова. Было. Прошло.

Бозкур пошевелил палкой угли.

— Завтра будет дело, — сказал он.

Аян кивнул и улыбнулся в темноте — широко, по-домашнему, как улыбаются там, где никого не режут. Малахай сполз ему на брови. Он вздёрнул его кивком.

Запомни это, сказал внутри голос — тот, старший.

Бозкур не понял, зачем ему помнить чужого мальчишку с петушиным голосом. Но голос никогда не объяснял. Он только складывал — в перемётную суму, на долгую дорогу.

Бозкур лёг, подтянув булат под бок, и тронул пальцами ворот чапана. Лагерный дух уже вьелся в одежду — пот, жир, ржавое железо. Только под подгибом ворота, где лежала скрученная втрое нить, ещё держался запах дома.

Шов держал.

Завтра — Холодный ключ. Восемь наконечников, восемь всадников.

Степь любит ровный счёт.

У Холодного ключа вода была ледяная и пахла гнилью.

Темир лежал в камыше третий час. Ключ сочился под локтем, холод давно съел ноги до колен — ног не было, было два чужих бревна. Ничего. Ноги в этом деле нужны в самом конце.

Дышал он вниз, в ворот стёганки: пар над камышом на рассвете виден, как дым.

Они пришли, когда солнце поднялось на две ладони. Минута в минуту. Привычка.

Восемь. Гуськом по тропе — стремя в стремя здесь не выйдет, узко. Шлемы качались у лук сёдел. Луки — в саадаках, наглухо. Передний — старший, наручи поймали утреннее солнце — ехал, бросив повод, и ковырял в зубах.

Полгода им тут никто не огрызался. Темир смотрел, как они едут, и думал одно слово, по-волчьи короткое: сытые.

У воды старший спешился первым. Бросил повод. Стянул зубами рукавицу. Опустился на колено в чёрную няшу и потянулся ладонью к ключу.

Человек, который зачерпывает воду, — самый мирный человек на свете.

Рука Темира пошла вверх.

Бозкур вёл его спину с правого борта.

Сорок шагов. Лук в полную силу, тетива у скулы, большой палец с костяным кольцом держит её, как клещи. Железный наконечник — узкий, злой — смотрит под левую лопатку, туда, где стёганка морщит на сгибе.

Выдох. Половину выдоха оставить.

Спина была широкая и мирная. Спина человека, который наклонился попить.

И тут в голове лопнуло белым.

Зима. Степь седая до края, мёртвая. Его юрта — полог откинут, проём чёрный. Из шанырака не идёт дым. Снег у порога цел: никто не выходил. Никто не выйдет —

Щелчок.

Дальше Бозкур не помнил ничего.

На левом борту работали ровно.

— Один, — сказал Жаксыбек и отпустил тетиву. Внизу свистнуло и хрюкнуло. — Два.

Усен бил по тем, кто оставался в сёдлах: конный опаснее пешего. Роговой лук хлопал сухо и зло.

Дозор сыпался. Кони, поймав ноздрями кровь, шарахнулись с тропы в няшу — и встали, увязнув по бабки, с вывернутым белым глазом.

— Три, — сказал Жаксыбек, посмотрел через балку и сбился со счёта.

На правом борту стоял Бозкур. В полный рост — хотя должен был сидеть в камыше. Он стрелял так, как не стреляют: без пауз. Рука шла к колчану, к тетиве, к скуле — и снова к колчану, одним слитным движением, как у человека, который черпает воду. Он не целился. Стрелы уходили в мясо. На третьем выстреле тетива начала срезать ему кожу с пальцев — полетели красные брызги. Он не заметил.

— Тенгри... — сказал Усен.

— Работай, — сказал Жаксыбек.

Тетивы стучали с двух бортов. Внизу кричали — коротко, мокро.

— Восемь, — сказал Жаксыбек. — Всё. Пустой.

Бозкур на том берегу потянулся к колчану ещё раз. Рука взяла пустоту. Он остался стоять с этой пустотой в кулаке, и на него старались не смотреть.

В горле тропы было тесно и мокро.

Асан вышел из камыша на втором свисте стрел — балта уже над плечом. Рядом поднялся Тилеу: молча, всей массой, как поднимается берег в разлив.

Няша чавкала и хватала за сапоги. Кровь парила на холоде.

Конь с пустым седлом пёр на Тилеу грудью — Тилеу шагнул на полшага в сторону и ударил соилом по темени, коротко, без замаха. Конь сел на зад и завалился, как юрта, у которой подрубили кереге.

Латник за конём успел выдернуть саблю. Асан принял клинок на топорщице, толкнул плечом — латник сел в грязь — и балта вошла ему в грудь с хрустом мёрзлого бревна. Выдёргивал Асан её уже ногой.

Хрип. Визг — кони кричали страшнее людей. Кто-то полз по няше, оставляя борозду, и борозда укорачивалась.

Седьмого Тилеу прижал к земле и просто подержал, пока тот не кончился.

Восьмой ушёл.

Задний, что так и не спешился, — молодой, на свежем жеребце. Он развернул коня на пятачке, смял грудью одного из темировских, втоптал его в камыш и пробкой вылетел из горла балки в степь.

Темир был в сорока шагах.

Сорок шагов — это вечность.

Аян держал два десятка поводьев и молился, чтобы руки оторвались не сразу.

Кони сошли с ума с первого визга. Кровь шла по ветру; табун рвал аркан, поводья резали ладони сквозь рукавицы. Один Боз-Ат Бозкура стоял неподвижно. Только ноздри ходили.

Потом из балки вылетел всадник.

Аян увидел всё сразу, одним куском: чужой жеребец стелется в степь, набирает ход, уходит — а из балки за ним никого.

«Если хоть одна тварь заржёт — стрелу в проход вгону».

Если этот уйдёт, прохода не будет ни у кого. Никакого.

Аян сплюнул.

Он упал на мышастого с земли, без стремени, и тарпан взял с места, как камень срывается с обрыва. Сабли не было. Был нож. Нож он даже не стал доставать — на скаку понял: не дотянется, не сумеет, не успеет.

Зато конь у него был быстрее сплетни.

Беглец шёл по дуге вдоль русла. Аян резал хорду.

Он не стал ничего выдумывать. Он просто направил коня — в коня.

Бозкура выдернул из черноты крик.

Дикий, мальчишеский, сорвавшийся посреди боевого клича на петушиную ноту.

Мир вернулся весь сразу. Солёный пот заливал глаза. Правая ладонь горела, пальцы были в крови, в кулаке — пустота вместо стрелы. Он стоял по колено в камыше, ниже по склону, чем садился: тело сошло вниз само, без него. У ног лежали люди с его оперением в спинах.

На выходе из балки по земле катался клубок.

Два коня поднимались из грязи порознь — мышастый и южный жеребец. Два человека не поднимались: рвали друг друга в няше. Латник вывернулся первым — сабля пошла из ножен дугой, наотмашь. Аян ушёл ужом, по-щенячьи; клинок вспорол рукав, по руке плеснуло красным.

Латник занёс саблю второй раз.

Второго раза не было. Сверху упала тень, и голова латника ушла в камыш отдельно от латника.

Асан опустил балту и стоял, тяжело дыша.

Стало тихо — той тишиной после боя, в которой звон в ушах громче мира. В няше бился и хрипел конь. Хрип оборвали ножом.

— В няшу их, — сказал Темир. Голос у него сел, как у всех. — Камнями придавить. Стрелы вырезать. Железо посчитать.

И пошла работа грязнее боя.

Наконечники резали из мяса, обмывали в ключе, складывали на расстеленную кошму. Тела волокли в топь по двое; няша принимала их нехотя, с долгим вздохом, и закрывалась сверху чёрным. Втоптанный оказался Бошаем — живым: жеребец прошёлся по нему грудью, а копытом, по милости Тенгри, мимо. Бошай лежал лицом в камыш, дышал боком и хрипел своё фирменное:

— Стрелу ему... в задний проход...

— Поздно, — сказал Усен. — Асан уже. Топором. По шее.

Темир перевернул старшего. Стрела сидела у того под левой лопаткой — по самое перо, сквозь стёганку. Темир посмотрел на оперение. Потом — коротко — на Бозкура. Ничего не сказал. Расстегнул на мёртвом наручи, вытер их о камыш и приторочил к поясу.

— Вторые, — сказал он.

Никто не спросил, зачем человеку четыре наруча.

Саблю беглеца Асан поднял из грязи, обтёр о полу его же стёганки и протянул Аяну рукоятку вперёд.

— Твоя. Ты его с коня снял...

— ...мы только подмели, — закончил Усен.

Аян взял саблю резаной рукой. Кровь сбежала по запястью на рукоять и ушла под оплётку. Первая кровь на его первой сабле была его собственная. Он ничего не сказал — горло бы выдадо петуха, — только вздёрнул сползший малахай кивком и встал так прямо, что стал на ладонь выше.

Жаксыбек закончил счёт на кошме и подал Бозкуру горсть мокрого железа.

— Восемь, — сказал он. — Ровно.

Высоко над балкой уже стояла первая чёрная точка и резала круг. Небо вело свой счёт.

Бозкур ссыпал наконечники в кисет и посмотрел на свои ладони. Кожа с пальцев была содрана полосами, тетива оставила тёмный след поперёк, и руки были как чужая вещь, найденная в собственном сундуке. Он попытался вспомнить хоть одно лицо из тех, что лежали теперь под няшей.

Ни одного лица не было.

Отец говорил: глаза приходят ночью. К нему прийти было некому — он их не видел. Он не знал, милость это или кража.

Счёт был закрыт.

Глава пятая. Долгий счёт

Конина закипела к темноте.

Котёл стоял в яме, над углями, и пар от него шёл густой, сальный, мясной — тот самый запах, от которого у голодного человека сводит затылок. Сварили старшего из дозорных коней — того, что сломал ногу в няше: мясо есть мясо, война войной, а зима близко. Кизяк трещал и стрелял искрами. Раненых перевязали тем, что было: царапины обмывали кумысом, что поглубже — заливали кислым дешёвым вином из трофейного бурдюка, и вино жгло так, что Бошай, которому правили отбитый жеребцом бок, поминал Тенгри, мать беглого латника и всех его коней до седьмого колена.

Напряжение спадало медленно, как сходит вода после паводка. Сначала перестали вздрагивать на каждый шорох. Потом кто-то выругался не зло, а смешно. Потом засмеялись. Волки, вернувшиеся с охоты целыми, начинали травить.

Жаксыбек сидел у малого огня и чистил наконечники — свои и Бозкуровы, обмытые в ключе, но кровь въедается в железо, её надо выгонять песком и жиром. Работал он, не поднимая головы, и заговорил так же — в железо, не в лицо:

— Ты стрелял по две стрелы в одного человека, парень. Так быстро, как некоторые из нас одну выпустить успевают.

Бозкур не ответил. Он сидел над своими ободранными пальцами и пытался вспомнить хоть что-то между «щелчком» и криком Аяна. Между ними не было ничего. Гладкая чёрная няша.

— Я не помню, — сказал он наконец. Тихо, чтоб только Жаксыбеку. — Как стрелял — не помню.

Жаксыбек повертел наконечник, глянул на свет, остался доволен.

— Руки помнят, — сказал он. — Голове и не надо. Голова на войне только мешает.

Усен, сидевший напротив, перегнулся через огонь — этому в рот палец не клади, всё слышит:

— Если так в упор шить, у человека вообще шансов нет. Первая стёганку рвёт, вторая уже в кость со свистом входит. По живому. — Он причмокнул, будто пробовал. — Я раз видел, как печенег так умел. Один. Так его свои же боялись больше, чем мы.

— И где он? — спросил кто-то.

— А кто ж его знает. Кто таких хоронит.

С боку, не разгибаясь, подал голос Бошай. Лежал он на здоровом боку, держась за рёбра, и каждое слово давалось ему с присвистом, но молчать было выше его сил:

— Ага. Всё красиво. — Присвист. — Только с такой стрельбой ему надо три колчана таскать. — Присвист. — Или арбу. Со стрелами. Сзади. На верёвочке. Чтоб не отстала.

Лагерь коротко, по-волчьи рыкнул смехом. Даже Тилеу — каменный Тилеу, который весь бой и весь вечер водил брусом по ножу, — дрогнул углом рта на полпальца. Бозкур не засмеялся. Но что-то в нём отпустило: над ним смеялись, а это значит — приняли. Над чужим в степи не шутят. Над чужим молчат.

После Бошай разговор сошёл с него и потёк, куда течёт всегда у тех, кто сегодня не умер, — к тем, кто умер раньше.

— Это что, — сказал Усен, обсасывая кость. — Вот мы под Дженд ходили, давно, я Аяна моложе был. Хорезмийский караван-сарай резали. Ночью зашли. — Он сплюнул хрящ. — Так у них собака была. Одна. Здоровее Басара. Она трёх наших положила, пока мы хозяев будили. Хозяев — за один вдох. А собаку — полночи.

— Хороший пёс, — уважительно сказал Асан.

— Лучше людей, — кивнул Усен. — Люди как кричать начали — сразу всё друг про друга рассказали. Кто где серебро прячет, кто чья жена. А пёс молчал. До конца.

— Сталь не врёт, — сказал из темноты немолодой голос. — Собака не врёт. Человек — постоянно.

Тилеу отложил наконец брусок. Все обернулись: Тилеу за два дня сказал слов меньше, чем Бошай за один присвист.

— Солончаки, — сказал Тилеу. И всё. Подумал. Добавил: — Не ходите на юг через солончаки весной.

Подождали. Тилеу решил, что сказал достаточно. Усен не выдержал:

— И?

— Корка сверху. Белая. Держит человека. — Тилеу смотрел в огонь. — Коня не держит. Конь проваливается по грудь. Дёргается — глубже. Мы троих коней так... — Он показал ладонью медленно вниз. — За ноги тянули. Бесполезно. Соль не пускает. Стоишь, держишь повод, а он на тебя смотрит. И уходит. Долго. — Брусок снова пошёл по ножу. — Конь кричит не как человек. Хуже.

Молчание стало другим. Аян, до того сидевший тихо в обнимку с новой саблей — он так и не выпускал её весь вечер, перетянул резаную руку чужой чистой тряпицей и держал клинок на коленях, как держат спящего ребёнка, — Аян сглотнул и спросил:

— А первый раз — как? Первого своего — помните?

Спросил и испугался, что спросил. Но старые наёмники не подняли его на смех. Вопрос был правильный. Вопрос своего.

Жаксыбек отложил железо. Долго молчал — так долго, что казалось, не ответит.

— Помню, — сказал он. — Мне четырнадцать было. Не в походе. У нас барымту угнали — табун, ночью. Мы за ними. Догнали к утру. — Он смотрел в огонь, и огонь стоял у него в узких глазах двумя точками. — Я и не понял, что убил. Ткнул копьём в темноту, в шевеление. Думал — мимо. Утром смотрю — лежит. Молодой. Моложе меня, может. Я ему копьё в горло всадил, сам не знал.

Он замолчал.

— И что? — тихо спросил Аян.

— Ничего. Стошнило. Потом ел. Потом спал. — Жаксыбек пожал плечом. — Думаешь, гром грянет? Не грянет. Просто был один человек, стало мясо. Вот и весь первый раз. — Он снова взял наконечник. — А ночью он пришёл. И ходит до сих пор. Сорок лет ходит. Иногда забываю, как мать выглядела. Его — нет.

— Глаза, — сказал Бозкур. Само вырвалось.

Жаксыбек поднял на него взгляд. Кивнул, будто Бозкур сказал что-то известное только им двоим.

— Глаза, — подтвердил он. — Тебе кто сказал?

— Отец.

— Воевал, значит, отец.

— Воевал.

— Тогда слушай отца. — Жаксыбек вернулся к железу. — Отцы про это не врут. Про это вообще не врут — незачем.

Аян сидел и смотрел на свою саблю. На свою резаную руку. Считал, наверное, придёт к нему ночью тот, кого добил Асан, или не его это глаза — Асан добивал. Бозкур видел по лицу мальчишки, как тот считает, и впервые подумал о нём не как о помехе, а как о ком-то, кого зачем-то надо беречь. Откуда взялась эта мысль, он не знал. Голос внутри — старший — молчал и складывал.

— Хватит.

Темир сказал одно слово, и не громко. Но нож его в этот момент вошёл в глину у колена — коротко, по рукоять, — и звук этот срезал байки, как срезают чиркнувшим ножом нитку.

Лагерь стих. Тепло слетело с лиц. Волки вспомнили, что они на охоте, а не на поминках.

— Сегодня вы убили глаза, — сказал Темир. Сидел он не двигаясь, и ответ огня лежал на его наручах — теперь на всех четырёх. — Восемь слепых дозорных, которые пришли пить воду. Это была не война. Это была прополка.

Он обвёл их взглядом — тяжёлым, немигающим.

— Завтра идём резать сердце. Сам Кулан-бек. Было при нём сабель двадцать пять — восемь вы утром утопили в няше. Осталось семнадцать, если я считал верно. — Он дал цифре повисеть над огнём. — Не радуйтесь. Это не сытые мальчики у водопоя. Это его старая стая: спят с саблей, просыпаются с ней же. Железо на каждом, кони южные. И завтра они выйдут к броду за купцами — как мы сегодня вышли к ним.

Никто не сказал ни слова. Но руки в кругу зашевелились сами.

Асан перевернул балту, провёл брусом по лезвию — вжик, вжик, — поглядел на свет, провёл ещё. Усен снял с лука тетиву, размял рога, поставил новую, навощённую, натянул, послушал пальцем у скулы. Жаксыбек разложил наконечники по колчанам — своим и Бозкуровым, поровну, восемь железных туда, где их быстро взять. Тилеу всё водил брусом, но теперь Бозкур понял: тот точил его так с самого Холодного ключа, ещё до того, как стало ясно, что бой выигран. Тилеу всегда точил. Война это или нет — нож должен резать.

— В Жёлтый овраг входим глухой ночью, — продолжал Темир, и нож его снова чертил по глине, и обрубок пальца лежал на черне привычно. — Не на рассвете — ночью. Идём руслом, потом оврагом, шагом, по одному. Тряпки на удила. Котлы не брать — звякнет котёл, всех положат. К рассвету лежим в овраге, в траве, против брода. И ждём.

— Чего ждать? — Усен подался вперёд. — Стан его — вот он, в ложбине у балбала. Ударить до света, сонных...

— По стану не пойдём, — сказал Темир.

— Сонных же!

— Стан — это нора. — Нож ткнул в глину. — Полтора десятка волков в своей норе, которую они знают на ощупь, а мы — нет. Часовые. Темнота. Ложбина вся в складках. Ударим — кого-то возьмём, а остальные брызнут по щелям, как мыши из-под кошмы. Лови их потом по степи до самого снега. — Он поднял взгляд на Усена. — Нам не нужен стан. Нам нужны все. До одного.

Он повёл ножом от ложбины к точке у воды.

— Завтра купцы встанут у брода. И Кулан-бек выйдет к ним за данью сам, со всеми людьми. Со всеми — потому что дань берут не саблей. Дань берут числом. Он выстроит своих перед караваном, чтобы купец видел каждое копьё и не торговался. Вся его стая будет стоять в одном месте. В открытой степи. Лицом к возам.

— Спиной к оврагу, — медленно сказал Асан.

— Спиной к оврагу, — кивнул Темир. — Он будет считать чужие тюки. Вся голова у него будет в серебре. Перед ним возы, сбоку вода, за спиной трава по грудь коню. Из этой травы мы и выйдем. Когда он протянет руку за чужим добром — мы уже будем у него за лопатками.

Кто-то тихо присвистнул. Темир переждал.

— Купцов не трогать. Пальцем. Кто тронет — сам повешу на карагаче. Купцы должны уйти живыми и довести до Ургенча две вещи: что дорога теперь чистая и что добро здесь продают за серебро, а не отнимают. Это длинная цена. Следующим летом тут пройдут три обоза вместо одного — и каждый будет знать, чья это степь.

— А дозор? — подал голос Жаксыбек. — Восьмерых он к ночи хватится.

— Хватится, — ровно согласился Темир. — Поначалу решит — загуляли, степь большая. К утру начнёт думать. Может, пошлёт пару свежих глаз обмести степь. Может, и овраг. — Он

помолчал. — Поэтому лежим тихо, ножи под рукой, и кто сунется в траву — режем без звука. Но караван придёт раньше, чем он додумает до конца. А когда внизу встанут возы с тканями и медью — жадность съест осторожность. Я таких, как он, видел. Серебро для них громче любой тревоги.

— А если не выйдет? — спросил Бозкур. — Если почует и не выйдет к каравану?

Темир посмотрел на него. В углу рта шевельнулось что-то, похожее на одобрение: вопрос был правильный.

— Тогда лежим ещё сутки и думаем заново, — сказал он. — Засада — не удар. Засада — терпение. Кто не умеет ждать, тот сыт под себя и не шевелится. — Он обвёл круг глазами. — Но он выйдет. Человек, который полгода берёт чужое без боя, разучивается ждать беды. Вы сегодня видели это у ручья. Привычка.

Он поднял глаза от чертежа.

— И запомните, чему вас научил ручей. — Голос не стал громче, но в нём прибавилось железа. — Один ушёл бы — и не было бы завтра. Сегодня нам повезло. Завтра везения не будет. Завтра — ни одного. Слышите? Ни одного живого. Уйдёт хоть конюх — разнесёт по югу, кто это сделал, и у степи появятся новые гости. А уйдёт сам бек — через лето вернётся с полусотней и вырежет ваши аулы за обиду. Тех самых овец, ради которых вы здесь. Тех самых детей.

Он помолчал, дав словам осесть.

— Пощады не будет. Не потому что мы злые. Потому что некуда её девать.

И только теперь он повернулся к Аяну.

— А ты, — сказал Темир, и голос у него стал тихий, нехороший. — Ты получил приказ. Какой?

Аян выпрямился. Малахай сполз — он вздёрнул его кивком.

— Держать коней.

— Держать коней. — Темир кивнул. — А ты что сделал?

— Бросил коней.

— Бросил два десятка коней посреди боя. — Темир говорил ровно, и от этой ровности было хуже, чем от крика. — А если бы они в тот миг рванули? Без тебя? Двадцать голов в степь, врассыпную. Мы выходим из балки — а уходит не на чем. Пешие. В дне пути от стана, где двадцать пять всадников. Ты об этом подумал, когда геройствовать прыгнул?

Аян открыл рот. Закрыл. Сглотнул.

— Нет, — сказал он. — Не подумал. Я увидел, что он уходит, и...

— И ничего больше не увидел. — Темир смотрел на него в упор. — Запомни этот холод в животе. Это не стыд. Это наука. Приказ — это не для того, чтоб тебя унижить. Приказ — это чтоб все вернулись. Ты исполнил свой азарт, а не приказ. В другой раз из-за такого азарта домой не доедет половина. Понял?

— Понял, — выдавил Аян. Голос всё-таки дал петуха на последнем слоге, и мальчишка вспыхнул до ушей.

Темир выдержал паузу. Дал ему дожариться как следует. А потом — без перехода, тем же ровным голосом:

— А теперь слушай вторую половину. — Он обвёл круг глазами и заговорил уже для всех. — Этот сопляк без сабли, с одним ножом, на тарпане догнал конного латника в броне. Срезал хорду, прыгнул на таран и снял его с седла. Без оружия. Потому что понял раньше нас, стариков, простую вещь: уйдёт — и всему конец. Голова сработала быстрее, чем у меня. Я был в сорока шагах и не успевал. Он — успел.

Аян замер, не понимая, ругают его ещё или уже хвалят.

— Дурак, который угадал, — сказал Темир. — Но угадал верно. А на войне, малой, чаще выживает тот, кто верно угадал, чем тот, кто всё сделал по правилам и опоздал.

— Я ж говорил — конь у него быстрее сплетни, — вставил Усен.

— Конь хороший, — согласился Асан. — И хозяин не трус...

— ...трус бы коней держал и в штаны делал, — закончил Усен. — А этот в штаны сделал уже после. Я видел.

— Не делал я! — взвился Аян.

— Делал, делал. Все в первый раз делают. — Усен ухмыльнулся. — Кто говорит, что нет, — тот и есть первый брехун.

Бошай со своего бока просипел:

— Я вот по сей день делаю. — Присвист. — Особенно когда жеребец по рёбрам ходит.

Засмеялись — и на этот раз тепло, по-доброму, и смех был обращён к Аяну, и Аян понял это и засветился весь, хоть и пытался хмуриться по-взрослому. Асан перегнулся и хлопнул его по плечу ладонью-лопатой — мальчишку качнуло.

— Саблю заслужил, — сказал Асан. — По-честному. Не отец сковал...

— ...степь сковала, — закончил Усен. — Она лучший кузнец. Дорого берёт, да крепко куёт.

Аян стиснул рукоять резаной рукой. Бозкур через огонь смотрел на него: на сползающий малахай, на гордую дурацкую улыбку, на саблю, которую тот не выпускал. И старший голос внутри сказал, как уже говорил над спящим сыном, над дочерью в бесике, над всем, что Бозкур увозил из дома:

Запомни это.

«Помню», — подумал Бозкур. И в этот раз не стал спрашивать зачем.

Костры гасили землёй — не водой: вода шипит и пар стоит столбом. Засыпали ямы, притапывали. Удила обмотали тряпьем, проверили друг у друга — звякнет или нет. Седлали в темноте, на ощупь, как умеют только степняки: подпруга, потник, тороки — руки делали всё сами, как делали стрелы у Бозкура.

Боз-Ат принял хозяина тёплым храпом. Бозкур тронул ворот чапана — там, под подгибом, где нить из трёх волос. Лагерный дух уже вёлся всюду, в кожу и в волосы. Но под воротом ещё держалось — слабо, на самом дне — молоко, полынь, тёплое темя сына. Шов держал.

Он вспомнил вспышку перед последней — нет, перед первой стрелой. Мёртвую юрту. Снег у порога, который никто не примял. Он не знал, что это было — страх или весть. В степи такое не выспрашивают. Но что-то в нём заперло эту картину на ключ и положило туда же, в суму, рядом с лицом Айелин и петушиным голосом мальчишки.

Они вышли мёртвым руслом — по одному, шагом, чёрные на чёрном. Три карагача остались позади, растопырив пальцы в звёздное небо. Тряпье на удилах глушило железо. Кони ступали по такрыу глухо, как по золе.

Шолпан ещё не встала. До рассвета было далеко, а до Жёлтого оврага — ближе.

Зима дышала в спину холодом.

Счёт продолжался.

Глава шестая. Жёлтый овраг

Перед рассветом овраг пах, как пасть.

Сырая глина, гнильё прелой травы, конский пот, остывшая моча — своя и лошадиная. Они лежали тут с середины ночи, вмёрзшие в склон, и склон отдал им весь свой холод до костей. Трава стояла по грудь коню, в рост лежащего человека; роса осела на ней, и теперь каждый, кто шевелился, набирал её за шиворот ледяной струйкой. Никто не шевелился.

Внизу спал караван.

Он встал на привал у брода с вечера — Темир знал, что встанет, и оказался прав, как был прав во всём. Тридцать с лишним лохматых двугорбых бактрианов лежали в ночи серыми кочками, пережёвывая ночную жвачку с тем глубоким, утробным урчанием, от которого вздрагивает земля. Между ними — потухшие костры, телеги, спящие вповалку люди. У воды, не ложась, стояли часовые — Бозкур насчитал четверых, в стёганных халатах, с круглыми тенями миндалевидных щитов за спиной. Хорезмийская охрана. Двенадцать их было, сказал Темир. Ветераны. Эти не сытые мальчишки у ручья.

Серый свет натекал в овраг медленно, как вода в след копыта.

Темир пополз вдоль лёжки.

Он двигался по траве без единого звука — туша литая, тяжёлая, а ползёт тише ужа. Останавливался у каждого, говорил на ухо два-три слова и полз дальше. Слова шли по цепи вперёд него, шёпотом, от человека к человеку, и Бозкур ещё не разобрал какие, но видел по лицам: слова были недобрые.

Темир лёг рядом. От него пахло железом и старым потом.

— Слушай и передай дальше, — выдохнул он Бозкуру в ухо. — Если выживем — никто ничего у людей бека себе не берёт. Ни ножа. Ни стрелы. Ни пряжки. Ни коня. Понял?

Бозкур повернул голову:

— Почему?

— Потому что вещь говорит. — Темир смотрел вниз, на спящий караван, и губы его едва шевелились. — У Кулан-бека сёдла приметные, наручи приметные, кони южные — таких в наших аулах отродясь не было. Всплывёт хоть одна узда на торжище у Итиля, хоть один шлем — и через полгода найдётся человек, который вспомнит, чьё это. И тогда придут. Не за беком — за нами. За аулами. Вырежут всех, до бесиков, за обиду. Степь маленькая, Бозкур. Память у неё длинная.

— А железо? Коня? Бросить?

— Продать. — В голосе Темира мелькнуло железо. — Вот им. — Он повёл подбородком на караван. — Они в этом бою потеряют тягло, я тебе обещаю — верблюды побьются, кони падут. Им нужно будет на чём везти шёлк дальше. Мы им — коней бека, куяки бека, сабли бека. Они нам — серебро. Чистое. Без имени. Серебро не помнит, чьё оно было. Серебро немое.

Бозкур молчал, переваривая. Это было умно — умно той холодной, дальней умностью, до которой сам он ещё не дорос. Он привезёт домой серебро, а не чужую саблю, по которой его найдут. Мать, прячущая лучший кусок в суму. Айелин с одной монеткой на косе. Зима.

— Понял, — сказал он.

— Передай дальше. — Темир уже отполз на локоть. И вдруг остановился. Повернул голову туда, где в траве лежал Аян — с краю, как и положено младшему. — И ещё.

Он подобрался к мальчишке. Бозкур слышал.

— Сабля твоя, — сказал Темир Аяну на ухо, без жалости, ровно. — Та, что с ключа. Тоже пойдёт купцам.

Аян дёрнулся всем телом. В сером свете было видно, как у него открылся рот.

— Она моя, — прошептал он. — Я её... я его с коня снял. Своей кровью. Ты сам сказал — степь сковала...

— Сковала. И отберёт. — Темир не повысил голоса. — Она хорезмийская, малой. Дорогая. С насечкой. Таковую саблю у семнадцатилетнего сопляка из нищего аула увидят раз — и спросят, где взял. И потянут за ниточку до самого этого оврага. До нас. — Он помолчал. — Хочешь, чтоб из-за твоей железки сожгли Бозкуров аул? Его бабу? Его пащенков?

Аян не ответил. Бозкур видел только, как мальчишка вжался лицом в мокрую траву и как у него ходят лопатки. Сабля лежала под ним, он накрыл её телом, как накрывают раненого друга.

— Серебром возьмёшь долю, как все, — сказал Темир мягче. — купишь себе свою. Простую. Кыпчакскую. Которую тебе никто не вспомнит. — Он тронул мальчишку за плечо — коротко, по-собачьи, не лаской, а так, как трогают, проверяя, жив ли. — Это не наказание, Аян. Это чтоб ты дожил до старой сабли.

И отполз.

Аян не поднял лица. Бозкур хотел сказать ему что-то — и не нашёл что. Слова у него были все грубые, не для этого. Он отвернулся к каравану. Пусть мальчишка побудет один. Есть вещи, которые человек должен проглотить сам.

Ожидая, Бозкур ещё раз прочёл овраг глазами — сверху вниз, от своих к чужим, как учил Темир: перед боем сосчитай всех, кто будет умирать, и пойми, где они будут это делать.

Жёлтый овраг тянулся длинной кривой раной с востока на запад. По дну, у брода — единственной воды на переход, — стоял караван: верблюды тёмными холмами, телеги кольцом, остывшие костры, хорезмийская стража у воды. Оба склона поросли травой в рост лежащего человека, и в этой траве, у самых конских морд, прижатых к земле, с ночи лежали свои. Левый скат — лучники: Усен, старый Жаксыбек и ещё двое; их дело — бить сверху, через головы. Правый скат — Бозкур с тремя: их дело — спины, когда бек повернётся к воям. А у восточного устья, в самой высокой траве, затаились Асан, Тилеу и вся тяжёлая кость с топорами и копьями — этим пропустить бека мимо себя вниз и по сигналу запереть устье за его спиной, как пробку в горле бурдюка. Темир, обойдя цепь, вернулся на правый скат и лёг рядом с Бозкуром, держа под рукой бронебойную: сигналом будет не крик. Аян лежал с краю правого ската, при своём тарпане, и под ним, под животом, грелась спрятанная сабля.

А с востока, из ложбины от серого балбала, должен был прийти Кулан-бек. Спуститься в овраг. Встать у воев, лицом к чужому добру. Спина — к траве.

Капкан стоял заряженный. Не хватало только зверя.

Свет всё наекал. И в этом свете, из ложбины за дальним краем оврага, от серого камня-балбала, показались всадники.

Их было много. Бозкур считал, не желая считать: семнадцать. Темир и тут не ошибся.

Они ехали к броду не таясь — шагом, вразвалку, как едут хозяева к своему амбару. Кулан-бека Бозкур узнал сразу, хоть и не видел никогда: так узнают жоака в стае — по тому, как перед ним расстается воздух. Невысокий, кривоногий от седла, в добром чешуйчатом панцире поверх толстого халата, с лисьим треухом на голове и плетью в руке. Лицо щербатое, ленивое. Он ехал и зевал.

Караван проснулся ему навстречу — не с тревогой, с тоской. Так встречаются не врага, а злого мытаря, которому всё равно платить. Из шатра вылез старик в высоком тюрбане — караван-баши, — пошёл к беку, прижимая руку к груди, кланаясь. Хорезмийская охрана собралась за его спиной, но саблей никто не тронул: двенадцать против семнадцати, в чужой степи, ради чужого шёлка — никто не хотел умирать с утра.

Кулан-бек не слез с коня. Он слушал старика вполуха, ковыряя в ухе мизинцем, и лениво поводил плетью: показывай, мол. Его люди уже текли мимо хозяина к телегам — спешили, бросали поводья, расслабляли коням подпруги. Полезли руками в тюки. Один вспорол ножом

рогожу, вытянул штуку шёлка — алого, дорогого, — и шёлк потёк по его грязным пальцам, как вода. Латник заржал, обмотал им шею, как баба платком. Другой уже пробовал на зуб серебряный слиток. Третий мочился на колесо телеги, держась за него рукой.

Сытые. Привычка.

Бозкур почувствовал, как Темир рядом приподнялся на локте. Медленно, очень медленно, потянул из саадака стрелу — тяжёлую, с длинным гранёным жалом. Бронебойную. Положил на тетиву. Не натягивая ещё, нашёл глазами цель.

Не бека. Рядом с беком, чуть позади, сидел на гнедом плотный широкий латник — судя по всему, десятник, правая рука. Этот один не лез к тюкам. Этот смотрел по сторонам. У такого голова на месте даже сытая.

Темир выбрал его.

— Тенгри, — выдохнул он одними губами. Не молитва. Просто слово, с которого начинают.

И натянул.

Бозкур не услышал спуска — услышал звук на том конце. Глухой, короткий, мясной чмок, с каким входит остриё в горло между панцирем и шлемом. Десятник не вскрикнул. Он просто перестал смотреть по сторонам — голова его мотнулась, будто он удивился чему-то в небе, и из шеи у него торчало древко, мелко дрожа. Он завалился с седла набок, медленно, цепляясь, и повис, застряв ногой в стремени.

Полмгновения было тихо.

А потом склон оврага закричал.

Они пошли сверху всей лавиной — два десятка коней разом вырвались из высокой травы, и трава хлестнула за ними, как вода за рыбой. Гик стоял дикий, многоголосый, нелюдской — степной волчий вой, от которого у скота лопается сердце. Бозкур летел в этом вое, не помня, как оказался в седле, как лёг повод в левую руку, как лук сам прыгнул в правую.

Внизу всё смешалось в один миг.

Хорезмийская охрана не дрогнула — ветераны. Старик-караван-баши заорал что-то горланное, и охрана сделала единственно верное: они не побежали и не полезли в драку с конными. Они кинулись к лежащим верблюдам и подняли на ноги ещё стоявших — но не для бегства. Криком, пинками, ударами древок они валили бактрианов на колени в круг, мордами наружу, горбами в стену. Живой бруствер. За полсотни ударов сердца посреди оврага вырос вал из ревающего верблюжьего мяса, и за этим валом оцетинилась копьями дюжина щитов.

И тут же стало ясно, во что они влетели.

Хорезмийцы не различали, кто свой, кто чужой. Для них и люди бека, и люди Темира были одно — степные псы, налетевшие на караван. И они рубили всех. Латник бека, тот самый, с алым шёлком на шее, кинулся за бруствер — думал, к своим, под защиту, — и хорезмиец без замаха сунул ему копьём под рёбра, и шёлк на шее намок чёрным. Бек заорал на караван-баши, тыча плетью: мы не вы, дурак, бей степь! — но старик уже ничего не слышал, старик спасал свой шёлк и свою шкуру, и его охрана колола из-за верблюдов всё, что двигалось.

Три стаи в одной яме. Каждый — каждому волк.

Это и была война, понял Бозкур на скаку. Не та, что в песнях. Эта.

Лучники левого ската сделали, как было велено: с лавиной вниз не пошли.

Они осадили коней на кромке, над свалкой, и били сверху, через головы, выбирая в каше цели — туда, где можно достать чужого, не зацепив своего. Усен работал зло и быстро. Старый Жаксыбек — спокойно, отрешённо, как чистил наконечники у костра, и считал вслух, под себя, как считал всегда. Этим счётом он сорок лет держал руку ровной.

— Один. Два...

Он потянулся за третьей стрелой и не достал её.

Стрела пришла сбоку. Не снизу, из свалки, куда он смотрел, — сбоку, вдоль ската: кто-то из хорезмийцев за бруствером развернулся и пустил наугад, в мелькнувшее в траве движение. Не целясь толком. Наугад — как сам Жаксыбек когда-то, в четырнадцать лет, ткнул копьём в шевелящуюся темноту.

Жало взяло его в лицо — в скулу, под левый глаз — и вышло за ухом.

Счёт оборвался на «двух». Старый лучник качнулся и сел в траву — мягко, по-домашнему, как садятся к очагу, — с ненужной третьей стрелой в пальцах. Глаза его, сорок лет видевшие по ночам чужие глаза, смотрели теперь в белеющее небо и не считали больше ничего.

Усен оглянулся на звук. Полвдоха смотрел. Потом отвернулся и выпустил следующую стрелу — потому что сделать было уже нечего, а внизу умирали живые.

Никто не успел к Жаксыбеку. На этой войне вообще никто ни к кому не успевал.

Жаппас вырвался вперёд всех.

Молодой, горячий, тот самый, что час назад в траве громче всех вздыхал по коням бека — ему-то и достанется первому, думал Бозкур потом, когда мог уже думать. Жаппас нёсся вдоль верблюжьего вала карьером, бросив повод, и работал луком как на скачках, на потеху аулу: раз стрела — латник с седла, два стрела — кто-то за бруствером. Красиво шёл. Лихо. Близко. Слишком близко к валу.

Из-за вала поднялся хорезмиец — немолодой, плечистый, из тех, кто всю жизнь грузит тюки и убивает людей. В руке у него было короткое тяжёлое копье для броска. Он не стал ждать. Шагнул раз, шагнул два, повернул корпус всем весом — и метнул. Навстречу. С упреждением. В человека, не в коня.

Бросок и встречный скок сложились в одну злую силу.

Звук был не такой, как ждёшь. Не лязг. Глухой, тупой удар — железа в кость, как обухом по мёрзлому бревну. Гранёное жало взяло Жаппаса в грудь на полном ходу, прошло стёганку, рёбра, всё насквозь — и копье, не потеряв хода, опрокинуло его. Жаппаса вышибло из седла — не сбросило, а вышибло, как ураган вышибает плохо привязанную кошму с юрты, — и понесло через круп. Он летел спиной вперёд, нелепо раскинув руки, лук ещё в кулаке, древко торчало из груди и моталось, и упал он на каменный такыр затылком и шеей.

Шея хрустнула. Отчётливо. Сквозь весь рёв оврага Бозкур услышал этот хруст — короткий, сухой, как ломают сук о колено.

А дальше было хуже.

Конь Жаппаса, ополоумев от крови, рёва и того, что хозяин исчез из седла на всём скаку, забился на месте, не понимая, куда тот делся. Он топтался на упавшем, плясал, бил всеми четырьмя, и Жаппас, мёртвый или почти, ходил под копытами тряпичной куклой. Хрустело уже не как сук. Хрустело мягко, дробно, мокро. За несколько ударов сердца от человека, который только что лихо шёл по склону, осталось то, что нельзя назвать; пыль поднялась рыжим облаком и накрыла это, и из облака выметнулся обезумевший конь с пустым залитым седлом и ускакал в степь, волоча оборванный повод.

Только пыль. Только пустое седло.

Вот и весь Жаппас.

Бозкур не успел ни ужаснуться, ни запомнить — овраг втянул его в себя.

Лук стал бесполезен сразу.

В такой тесноте, в свалке, где свой и чужой и верблюд в трёх локтях, из лука не выстрелишь — попадёшь в спину товарищу. Бозкур закинул его за плечо на ходу — руки сделали сами, как делали всё в эти дни, — и потянул из ножен отцовский булат.

Клинок вышел с тихим певучим звуком, и этот звук был последним тихим звуком. Дальше был только грохот.

Боз-Ат влетел в гущу и встал на дыбы перед верблюжьим валом — конь умнее всадника, конь не пойдёт грудью на рога. Бозкура едва не выкинуло. Прямо под ним пеший латник бека

рубанул снизу, целя коню в брюхо, — Бозкур, не думая, свесился и принял удар на булат, и руку прошило до плеча; сталь визгнула о сталь. Латник рванул саблю на себя, оскалась — лицо в трёх вершках, чужое дыхание шибануло в ноздри: гнилые зубы, лук, вчерашнее сало, страх. Живое, тёплое, вонючее лицо.

Бозкур ударил.

Не так, как учили на лозе. Косо, коротко, без красоты — сверху вниз, в стык между нащёчником шлема и плечом, в шею. Булат вошёл легко, неприлично легко, будто резал не человека, а курдюк. Латник захлебнулся. Из-под клинка плеснуло горячим, плеснуло Бозкуру на руку, на запястье, под рукав, и кровь была не как в рассказах — она была горячая, как из казана, и воняла железом и дерьмом разом, потому что у мёртвых отходит низ.

Латник сел. Бозкур выдрал клинок — пришлось дёрнуть, кость держала.

Первый. С лица. Не со спины, как у ключа. Лицо он запомнил всё, целиком, до последней щербины в зубах, и понял разом, без слов, что отец не врал. Это лицо придёт ночью. И останется.

Думать было некогда.

Овраг сошёл с ума окончательно, когда сорвались верблюды.

Бруствер не выдержал — бактрианов кололи и свои и чужие, и звери, которых вместо защиты стали резать с обеих сторон, поднялись все разом с диким, выворачивающим нутро рёвом — таким, что закладывало уши. Тонна лохматого мяса на каждой паре — и эта тонна пошла топтать всё подряд.

Латника бека, что замешкался под верблюжьей мордой, сбили с ног и вмяли в глину. Бозкур видел сверху, с седла, как верблюжья мозоль-ступня опустилась на голову в шлеме — и шлем сложился. Не слетел. Сложился внутрь, как мнётся в кулаке береста, с тем же хрустом, и из-под железа выдавило. Человек дёрнул ногами и затих под тушей.

Шёлк рвался под копытами. Алый, синий, золотой — драгоценные штуки, за которые в Ургенче давали табун, расползались по кровавой жиже, мешались с грязью, с навозом, с кишками, и по ним топтались, и никто уже не видел, что это шёлк. Серебро рассыпалось из распоротого мешка под ноги — и его тоже втоптывали, не глядя. Всё стало одной ценой. Никакой.

— АЯН!

Бозкур сам не понял, что закричал, — увидел и закричал.

Мальчишку ссадили с коня — сбили в давке или тарпан вынес из-под него, не разобрать. Он стоял пеший в самой гуще, маленький, тонкошей, с хорезмийской саблей в обеих руках — той самой, которую велено было отдать и которую он всё-таки взял в бой, не смог не взять, — и махал ею отчаянно, широко, без всякого умения, как косят бурьян. А на него, не торопясь, шёл латник бека. Грузный, в годах, со щитом. Такие не торопятся, потому что знают: мальчишка никуда не денется.

Бозкур бросил Боз-Ата вперёд, в просвет, рубя на скаку наотмашь — попал, не попал, не до того. Конь не шёл прямо: шарахался от верблюжьих туш, вставал, его разворачивало в давке. Бозкур видел всё. И не успевал.

Латник принял первый мальчишеский замах на щит — лениво, как отводят ветку. Второй. Третий. Он не рубил в ответ — он ждал, когда щенок выдохнется. А на четвёртом замахе пустил саблю снизу, под клинок, наискось — и достал. По правой руке. По той самой, которую резали у Холодного ключа.

Старая рана лопнула под новой. Рукав вспыхнул тёмным. Пальцы разжались сами — и хорезмийская сабля, его первая, его кровная, ушла в грязь, и грязь её взяла.

Аян остался с пустыми руками. Латник ударил его щитом — окованным краем, в грудь, коротко и страшно, — и мальчишка опрокинулся навзничь в жижу.

Дальше было просто. Латник упал на него сверху всем весом, придавил коленом, выпростал из-за пояса нож. Аян поймал его запястье обеими руками и повис — но в нём было сем-

надцать тощих лет против взрослой туши, и нож пошёл вниз. К горлу. Медленно, как заходит солнце. Аян хрипел, упирался, скрёб сапогами по грязи — и видел над собой чужое мокрое лицо, спокойное, рабочее. Латник не злился. Латник работал.

И тогда мальчишка сделал единственное, что может слабый против сильного.

Он отпустил одну руку. Нож тут же прыгнул ближе, чиркнул по горлу, взрезал кожу — но освободившейся ладонью Аян сгрёб из-под себя полную горсть того, во что превратилось дно оврага: грязь, кровь, навоз, требуху — и вмазал латнику в лицо. В глаза. В раскрытый рот. Втёр, как втирают.

Латник захлебнулся, ослеп, мотнул головой — на один-единственный вдох.

Вдоха хватило.

Асан возник над ними, как падает подрубленный карагач, — балта прошла плашмя над самым Аяном, так низко, что мальчишку обдало ветром железа, и развалила латнику шею наполовину. Голова свесилась набок на лоскуте. Тело ещё стояло на коленях, сжимая нож, не успев понять, что оно уже мёртвое, — и Асан спихнул его с мальчишки пинком, как спихивают куль.

— Жив? — пробасил он, не глядя, уже разворачиваясь к новой цели.

Аян выполз из-под трупа на четвереньках — в грязи, в чужой требухе, зажимая разваленную руку, с тонкой красной строчкой поперёк горла, где прошёл кончик ножа. И его рвало. Долго. Всем нутром.

— Жив, — сказал за него Бозкур сверху. — Жив он, чёрт.

И снова влетел в свалку, потому что свалка не кончилась.

Кулан-бека загнали к балбалу.

Он был не трус — этого у него не отнять. Когда понял, что западня, что хорезмийцы рубят его людей, а сверху валит степь, он не побежал. Он сбил вокруг себя пятерых уцелевших, спина к спине, и рубился зло, по-волчьи, отступая к серому камню — единственной твёрдой спине в этом аду. Лисий треух с него сбили, по щербатому лицу текла кровь из рассечённой брови, но плеть он бросил и работал саблём коротко, умело, доставая коней по бабкам.

Темир достал его не саблей — камчой.

Тяжёлый свинцовый шар на конце плети свистнул и обрушился беку на плечо — не в голову, в плечо, чтоб не убить сразу, чтоб уронить. Хрустнула ключица. Бек качнулся, рука с саблей повисла. И в этот провал, в эту единственную щель, шагнул Асан.

Балта поднялась и опала.

Первый удар развалил беку наплечье вместе с плечом — куяк не держит топора, куяк держит саблю, а топор приходит всей тушей и весом, и чешуя продавливается внутрь, в мясо, ломая под собой кость. Бек осел. Второй удар Асан положил уже сверху, по загривку, добивая, и тут подоспел Усен, и братья доделали вдвоём, молча, как всё делали вдвоём, — кончили, не переговариваясь, по одному короткому взгляду.

То, что осталось у балбала, перестало быть Кулан-беком. Стало мясом у старого камня, который простоял тут тысячу лет и повидал, надо думать, и не такое.

— Кончился! — рявкнул Асан, разгибаясь.

И овраг стал затихать.

Не сразу. Бой не гаснет, как свеча, — он тлеет, рассыпается на отдельные очаги. Где-то ещё дрались, где-то уже добивали. Уцелевшие людишки бека — те, кого не достали свои же и чужие, — бросали железо в грязь и валились на колени, тянули пустые руки: пощады. Кто-то пытался уйти пешим вверх по склону, скользя в траве.

— Никого не выпускать! — кричал Темир, и голос его перекрывал даже верблюдов. — Ни одного! Загонщики — наверх! Раненых их — резать! Всех!

И их резали.

Без злобы уже, без горячки — устало, деловито. Двое держали, третий бил ножом под ухо или в грудь, и шёл дальше. Молящих не слушали. Стоящих на коленях валили и резали, как режут баранов на той, — да так же оно и было, по сути: степной убой, только мясо двуногое. Пленных Темир не велел брать ни одного. Бозкур уже знал, почему. Один уйдёт — и придут за аулами.

Он сидел в седле, тяжело дыша, и смотрел на свои руки.

Они были по локоть в чужом. Кровь уже не была горячей — стыла, делалась липкой, бурой, стягивала кожу, склеивала пальцы с рукоятью так, что булат стал продолжением руки, не отодрать. Под ногтями. В складках. В рукаве. На лице — он чувствовал, как стянуло щеку коркой. Лицо первого латника стояло перед ним, и Бозкур знал: это только первое из тех, что придут сегодня в темноте. Сколько он ещё срубил в свалке — не считал. Не помнил даже толком. Но эти, контактные, с дыханием в лицо, — эти все придут. По одному.

Глаза приходят ночью.

Он не блекнул в этой драке, как у ключа. Тут не было вспышки, не было мёртвой юрты, не было того белого провала. Тут он был весь, целиком, в каждом ударе, и чувствовал всё — вонь, тепло, хруст, тяжесть стали в усталой руке. И это, понял он, было страшнее беспамятства. Там после боя оставалась пустота. Тут останется память.

Пыль ещё не села.

И из-за верблюжьего вала, из последнего его очага, где засели хорезмийцы, в сторону Темира вылетели копыя.

Три или четыре разом — длинные, тяжёлые, брошенные сильной рукой ветеранов, которые так и не разобрали в пыли и крови, кто перед ними. Для них всё, что двигалось верхом, было степью, и степь надо было колоть, пока колется. Одно копьё прошло Темиру у самого лица — Бозкур видел, как мотнулась его голова, уходя, как древко чиркнуло по скуле, сорвав кожу. На волос. На один волос мимо.

Темировцы взвились. Десяток луков взлетел разом, тетивы натянулись — добить, дорезать, выместить за Жаппаса, за всех, кто остался в этой яме.

— СТОЯТЬ!!!

Рёв Темира хлестнул, как камча. Кровь текла у него по щеке, но голос был железный, без единой трещины.

— Не стрелять! Не входить в бой! Луки опустить, я сказал!

Луки дрогнули. Опустились — нехотя, со скрипом. Темировцы привыкли слушать этот голос; голос держал их крепче узды.

— К нашим! — Темир уже перенаправлял ярость, гасил её делом, как гасят пожар, отводя огонь в стороны. — Раненых собрать! Шить, вязать, жгуты! Живо! Кто стоит без дела — тот покойник, ищи себе яму!

И — развернувшись к верблюжьему валу, набрав воздуха, перекрывая рёв недобитой скотины и стоны:

— ЭЙ! СТАРИК! — заорал он в сторону каравана. — КАРАВАН-БАШИ! Уйми своих псов, пока я добрый! Кулан-бек сдох! Слышишь?! Тот, кто тряс вас полгода, — вон он, у камня, в фарш! Дорога на два месяца чистая! Мы не за твоим шёлком пришли, дурья твоя башка!

За валом завозились. Поднялась голова в высоком тюрбане — грязном теперь, сбитом набок. Старик-караван-баши обвёл оврагом единственным видящим глазом — второй заплыл — и оказался, как все, кто водит караваны через степь, совсем не дурак. Он увидел всё в один взгляд: мёртвого бека у камня, своих уцелевших, чужих победителей, которые могли бы дорезать, но не режут. Он умел считать живых и мёртвых лучше, чем считал серебро.

Он рывкнул на своих — гортанно, длинно, с такой руганью, что и без знания хорезмийского было ясно: каждое слово грязное. Замахнулся на одного из охранников, всё ещё тянувшего копьё, дал ему по тюрбану. Копья за валом дрогнули и пошли вниз. Щиты опустились.

Дюжина — теперь уже не дюжина, меньше — ветеранов нехотя, не веря, опускала оружие, не сводя глаз с тех, кто стоял наверху.

Бозкур видел эти глаза. Это был не страх перед беком. Это был другой страх — холодный, опасливый, какой бывает у человека, понявшего, что зверь, убивший волка, ещё страшнее волка. Они смотрели на Темировцев, как смотрят на нечто, чего лучше не злить: те, кто вырезал Кулан-бека за одно утро и при этом не тронул чужого шёлка, были непонятны, а непонятное страшит сильнее злого.

Бой кончился.

Начался торг.

Они сошлись на нейтральной полосе — у воды, между мёртвым караваном бека и живым караваном купца. Темир пошёл сам, один, бросив саблю в ножны, прижав к рассечённой скуле горсть травы. Бозкур ехал за ним в трёх шагах — Темир велел: смотри и учись, тебе это пригодится больше, чем сабля.

Караван-баши вышел навстречу, тоже один, тоже без оружия. Маленький, жилистый, борода крашена хной, глаз заплыл. Они встали друг против друга над ручьём, в котором текла теперь розовая вода, и долго молчали, меряясь.

— Ты увёл у меня день, — сказал наконец старик по-кыпчакски, скверно, но понятно. — И трёх верблюдов. И двух людей.

— Я тебе вернул дорогу, — сказал Темир. — На два месяца. И жизнь. Кулан-бек взял бы с тебя десятину шёлком и ушёл. А на обратном пути взял бы вторую. Я тебе вырезал его с корнем. Считай, я тебе подарил будущий караван.

Старик пожевал губами. Это была правда, и оба это знали.

— Чего хочешь, степняк? Ты не тронул мой товар. Значит, хочешь не товар. Хочешь сговориться. Говори.

И Темир заговорил — спокойно, деловито, как торгуют скотом, а не как стоят по колено в мертвецах. Бозкур слушал и не узнавал войну. Только что был ад — рёв, хруст, кровь из казана, — а вот уже двое стариков (Темир не стар, но в этот миг он был стар, как сама степь) считают коней и серебро над розовым ручьём, и от их счёта зависит, переживут ли зиму два рода в трёх переходах отсюда.

— У бека двенадцать коней целых, — говорил Темир, загибая пальцы изувеченной руки. — Южная кость. Тебе как раз заменить павшее тягло и ещё останется. Куяков снимем чистых десятка полтора — продашь на юге, железо всегда в цене. Сабель, копий — мешок. Серебро, что бек уже с других насобирает, — твоё, мы в его суму не лазили. Всё это, старик, ты бы и так не довёз, если б не мы. А теперь забирай за серебро. За наше серебро. Чистое, новое, не степное.

— Кони под тавром, — караван-баши покосился туда, где ходили бековы жеребцы. — Казённое тавро, злое. Попадись с таким — голову снимут, чью — спрашивать не станут.

— А ты не продавай, — сказал Темир. — Впряги и вези. На тягло под возом никто не глядит: тягло — оно без роду. Падёт конь — сдерёшь шкуру, и тавро с ней уйдёт. А продавать станешь — вот тогда и найдут. По коню, по тавру, по языку твоему. — Он поглядел старику в глаза, тяжело. — Не продавай, старик. Это я тебе не как торговец говорю.

— Почему не возьмёте сами? — прищурился караван-баши. — Кони, железо — вон, бери, я мешать не стану. Зачем вам моё серебро за то, что и так лежит в траве ваше?

Темир посмотрел на него долгим взглядом. И сказал правду — потому что хитрый купец чует ложь, а правда иногда выгоднее:

— Потому что чужой конь под кыпчаком — это верёвка на шею кыпчаку. А серебро — это просто серебро. Мы железо в кровь добываем, старик, а домой везём монету. Так дольше живут.

Караван-баши засмеялся — сухо, дребезжаще, уважительно. Он понял. Он сам жил так же — оттого и дожил до седой крашеной бороды на этой дороге, где не доживают.

— Ты не глуп для степной собаки, — сказал он.

— А ты не жаден для хорезмийской лисы, — сказал Темир. — Сговоримся.

Они ударили по рукам над розовой водой.

Серебро отсчитывали на крышке телеги, при всех, — Темир велел, чтоб видели все: и свои, и чужие, чтоб потом не было разговоров, кто сколько утаил. Монета ложилась к монете с тихим, честным звоном, и этот звон был странно мирным в овраге, где ещё стонали недорезанные верблюды, которых теперь, по уговору, добивали уже на мясо — мясо тоже шло в дело, война войной, а отряд не ел со вчера.

Бозкур стоял в стороне и держал в горсти свою долю — тяжёлую, прохладную, чужую. Серебро. Зима. Лошади, которых он купит. Вторая монетка на косу Айелин — он же обещал. И ещё одна. И ещё. Он сжал кулак, и серебро впилося в ладонь, в ту, что ещё не отмылась от чужого.

Он перевёл взгляд на Аяна.

Мальчишку уже перевязали — руку, где сабля латника вскрыла старую рану с ключа, замотали по локоть; на горле подсыхала тонкая красная строчка от чужого ножа. Кость целая. Жив. Он сидел на земле, привалившись к колесу, и смотрел, как один из Темировцев несёт к купеческим телегам охапку трофейного железа — и поверх охапки лежала та самая сабля. Хорезмийская. С насечкой. Его. Отмытая от грязи, в которую он её выронил.

Аян смотрел, как её уносят. Лицо у него было мокрое — не понять, пот, кровь или ещё что. Он не плакал. Семнадцать лет, первый настоящий бой, чужой нож у самого горла, выблевал нутро над мертвецом — но не плакал. Просто смотрел, как уходит первая сабля, которую дала ему степь и тут же забрала.

Бозкур подошёл. Сел рядом, на корточки. Помолчал — он не умел иначе.

— Темир прав, — сказал он наконец. — Я бы тоже не хотел, чтоб из-за железки сожгли мою юрту.

— Знаю, — глухо сказал Аян. — Я всё знаю. — Он сглотнул. — Просто она была моя. Первая. Понимаешь?

Бозкур понимал. Он раскрыл ладонь, посмотрел на серебро. Потом отсчитал из своей доли — не глядя на достоинство, просто горсть, хорошую горсть, — и сунул мальчишке.

— На. К твоей доле.

Аян отдёргнул руку:

— Не возьму. Не милостыня.

— Не милостыня, — сказал Бозкур. — В долг. Купишь себе саблю — кыпчакскую, простую, какую никто не вспомнит. И отдашь, когда у тебя будет лишнее. Лет через десять. — Он подумал и добавил, потому что мальчишке это было нужнее серебра: — Хорошая будет сабля. Своя. Не с чужого мертвеца — а та, что ты сам выберешь. Эта дольше прослужит.

Аян поднял на него глаза — и в них впервые за всё утро мелькнуло что-то живое. Не восторг прежнего щенка, что ловил каждое слово. Другое. Тяжелее и крепче.

Он взял серебро. Зажал в кулаке.

— Отдам, — сказал он. — Слышишь? Я отдам. Через десять лет. Запомни.

— Запомню, — сказал Бозкур.

И что-то в нём — тот старший, тихий голос, что складывал в суму лицо сына, и палец дочери, и петушиный крик над балкой, — это что-то сложило и сейчас: мокрое мальчишеское лицо, серебро в тонком кулаке, слово «через десять лет», сказанное над оврагом, полным мёртвых.

Через десять лет. Через двадцать.

Голос складывал, не объясняя. Он никогда не объяснял. Он только знал — глухо, безошибочно, как знает степь, откуда придёт буран, — что не все слова, сказанные над этим оврагом, сбудутся так, как их сказали. И что это мокрое лицо он будет помнить дольше, чем своё.

Уходили за полдень.

Тела людей бека стащили в овраг, в самую крепь, под обрыв, и обрушили на них пласт глины — стервятник всё равно укажет, но не сразу, а к тому сроку их и след простынет. Своих павших — двенадцать — везли с собой, поперёк их же сёдел, замотанных в их же чапаны: их надо было довести до родной земли, до родни, в степи мёртвого не бросают в чужую яму, если можно увезти. Двенадцать поперёк сёдел — больше, чем уезжало живыми. Жаппаса собрали, сколько собралось. Жаксыбеку накрыли лицо тряпицей — чтобы не видеть, что стрела сделала с лицом человека, который сорок лет уходил от стрел.

В живых осталось их восемь, считая Бозкура. Из тех, кто лежал ночью в высокой траве. Из двадцати — восемь, и четверо из восьми держались в седле через силу: Тилеу с распоротым бедром, замотанным в три тряпки; Бошай, у которого старые отбитые рёбра в свалке кто-то достал ещё раз, и он теперь дышал коротко, по-собачьи, и молчал — а молчащий Бошай был страшнее воющего; и ещё двое, кому досталось крепко. Темир ехал с травяной нашлёпкой на скуле, под ней набухало бурым.

Купеческий караван уходил на север, к Итилю, и уводил с собой двенадцать бековых коней, мешок бековой стали и одну хорезмийскую саблю с насечкой. Розовая вода в ручье отстоялась и снова стала просто водой. Серый балбал смотрел вслед всем — и уходящим на север, и уходящим на восток, — каменными бельмами, как смотрел тысячу лет и будет смотреть ещё тысячу.

Бозкур ехал в хвосте. Серебро оттягивало пояс. Руки он отмыл в ручье, но кровь засела под ногтями и в трещинах кожи — такую не вымоешь водой, такую только сносишь, со временем, как сносят мозоль.

Он тронул ворот чапана — привычно, как трогал каждый день. Под подгибом, где Айелин зашила нить из трёх волос, всё ещё что-то было. Но пальцы его, в чужой засохшей крови, оставили на вороте бурый след, и запаха дома он больше не услышал. Только железо. Только то, что теперь въелось в него самого и уже не выветрится.

Он не стал тереть. Поздно.

Степь лежала вокруг — седая по утрам уже всерьёз, выгоревшая, бескрайняя. Зима стояла на пороге, и теперь её можно было встретить: с серебром, с лошадьми по весне, с полным брюхом до травы. Он сделал, зачем приходил. Он вёз домой зиму без смерти.

И вёз с собой первое лицо. И ещё несколько. Они придут вечером, как обещал отец, как обещал старый Жаксыбек — которому больше не грозил ни один вечер.

Бозкур ехал им навстречу — навстречу первой своей бессонной ночи — и не оглядывался на овраг.

Запомни и это.

Глава седьмая. Ураганы

Небо над степью стояло такое, какое бывает раз в году, на самом изломе осени: вымытое до звона, высокое, без единого облака — ни пёрышка, ни нити. Солнце светило ещё по-летнему ярко, но грело уже вполсилы, как старик, который помнит, как это делается, да сил больше нет. Воздух был студёный и чистый — его хотелось пить.

Басар ждал его на гребне последнего холма. Там же, где провожал.

Свои провожают до границы запаха. Свои там же и встречают. Пёс не залаял — старые псы не лают по пустякам, — только встал, потянулся всем шрамированным телом и пошёл рядом, у стремени, деловой трусцой работника, который сдаёт хозяина с рук на руки дому.

А потом из-за юрт вылетел Арлан.

— АКА-А!

Он бежал, как бегут трёхлетние, — всем телом сразу, обгоняя собственные ноги, — и Бозкур прыгнул с седла и поймал его на лету, как ловил всегда. Сын повисел у него на шее ровно столько, сколько позволяла гордость, потом отстранился и посмотрел строго, по-хозяйски.

— Бил плохих?

— Бил.

— Отдавай.

Бозкур вытащил из-за пояса камчу — детскую плётку, проехавшую с ним до Жёлтого оврага и обратно, рядом с родовым булатом. Арлан принял её, осмотрел со всех сторон — не сломали ли, не истрепали ли, — остался доволен. Потом вспомнил главное:

— А сабля?

Бозкур достал из перемётной сумы нож — купеческий, с костяной рукоятью, в кожаных ножнах, выторгованный у ургенчского старика за две монеты. Арлан вытащил его, попробовал пальцем — Бозкур успел перехватить запястье, — осмотрел. Лицо его выражало борьбу справедливости с жадностью.

— Это нож, — вынес он приговор.

— Нож, — согласился Бозкур. — Сабли твоего размера на торгу не было. Это задаток.

Арлан подумал. Кивнул.

— Ладно. Но сабля за тобой.

— За мной, — сказал Бозкур.

И что-то тонко кольнуло его под рёбрами слева — там, где у человека пусто, пока судьба не положит туда камень. Он не стал разбирать что.

Мать выбежала из юрты с полной горстью — курт, сушёный иримшик, что было под рукой, — и осыпала его через голову, по старому обычаю: шашу, белый дождь на счастье, чтобы возвращение было сладким и чтобы дорога запомнила его сытым. Курт застучал по плечам, по конской гриве; Арлан немедленно кинулся подбирать — таков второй смысл шашу, и дети знают его лучше первого. Потом мать притянула его голову к себе — сильно, обеими узловатыми руками — и шумно, по-старушечьи вдохнула его макушку, как вдыхают младенцев. Слёз не было. Слёзы у неё были заняты: она улыбалась.

Айелин стояла у коновязи и не подходила, пока не отступила мать.

Она оглядела его так, как осматривают коня после долгого перегона: руки, лицо, посадку, то, как он прыгнул с седла — не бережёт ли бок, не подволакивает ли ногу. Взгляд её зацепился за ворот чапана — за бурый след, вьевшийся в подгиб, — и остановился там на полвдоха. Она ничего не спросила.

— Цел?

— Цел.

— Хорошо.

Всё. Остальное она скажет ночью, без слов, или не скажет никогда.

Отец вышел из юрты последним — как и положено, — опираясь на посох с рогом архара. Встал. Посмотрел единственным зрячим глазом. Бозкур подошёл, отстегнул саблю вместе с ножнами и протянул её отцу двумя руками.

— Вернул. В руки.

Отец принял. Подержал — недолго, как держат спящего ребёнка, которого боятся разбудить. Вытянул клинок на ладонь, глянул на волну булата, задвинул обратно. И протянул сыну.

— Теперь она знает твою руку, — сказал он. — Носи.

Кашель поднялся в нём, и он задавил его, как давил всегда. Больше отец не сказал ничего. Но посох в его руках стоял в этот вечер прямее обычного.

В юрте Бозкур наклонился над бесиком.

Карлыгаш не спала — лежала, смотрела вверх чёрными глазами-маслинами, и сушёная лапка филина покачивалась над ней. Он опустил палец — мозолистый, в незаживших ещё рубцах от тетивы — рядом с её ладонью. И на этот раз ручка нашла его сразу. Не глядя. Цепко. Сжала — бессмысленно и безоговорочно, как умеют только совсем маленькие.

Уезжал — не проснулась. Вернулся — держит.

Степь любит ровный счёт.

Вечером отец велел резать барана — благодарственного, Тенгри за возвращение сына. Резать вывели того самого старого рогача-вожака.

Арлан присутствовал при этом с лицом человека,ждавшего правосудия. Когда барана валили, он стоял в трёх шагах, заложив руки за спину, точь-в-точь дед, и изрёк:

— Я говорил. Этого — первым.

Дед хмыкнул. Мать прыснула в кулак. Даже Айелин улыбнулась — углом губ, как она умела. Бозкур смеялся вторым за осень разом, и смеяться было непривычно, как ходить после долгой скачки.

За мясом спрашивали. Бозкур рассказал — так, как рассказывают семье: была дорога, был торг. Кулан-бек привык брать чужое и не захотел платить за это — заплатил. Купцы из Ургенча дали за работу серебром. Дорога теперь чистая, и зима будет сытой.

— А ты ему голову отрубил? — спросил Арлан с набитым ртом.

— Ешь, — сказал дед.

И Арлан ел. А Бозкур поймал через огонь взгляд Айелин — тёмный, ровный — и понял, что она услышала всё, что он не сказал. Ночью, когда юрта уснула, она спросила в темноте одно:

— Сколько вас вернулось?

— Восемь.

Она не спросила, сколько уходило. Она знала. Пальцы её нашли его руку под одеялом и легли сверху — тихо, как ложится снег. Так они и уснули. Вернее, уснула она.

К нему пришли лица.

Отец не соврал, и старый Жаксыбек не соврал: они пришли в первую же ночь — латник со щербатыми зубами, с дыханием, которое Бозкур теперь знал на вкус, и ещё двое, смутных, из свалки. Они не делали ничего. Они просто стояли в темноте под закрытыми веками и смотрели. Бозкур лежал тихо, дышал ровно, как спящий, и учился жить с гостями. К утру они уходили. На завтра приходили снова — работа у них была такая.

Серебро считали на третий вечер, при закрытом пологе, высыпав на кошму.

Монеты лежали кучкой — тяжёлые, тусклые, с чужими письменами, — и вся юрта смотрела на них по-разному: мать с недоверием, Айелин с прищуром счетовода, Арлан с восторгом, отец никак. Делили не серебро — зиму.

Полтора десятка овец — на согым и на приплод, брать сейчас, по осени, пока соседи сбрасывают то, что не прокормят. Просо, мука и соль — у проезжих, пока дорога не закрылась.

Войлок на новую юрту погодить, а вот старую перетянуть. Столбы для загона — настоящие, карагачёвые, а не жерди: Бозкур обещал и Бозкур сделал, через неделю загон стоял на врытых столбах, и Айелин обошла его, подёргала и впервые не нашла, что поправить.

Пять дирхемов с дырками он высыпал ей в ладонь отдельно, вечером, без свидетелей.

— Обещал.

Айелин посмотрела на монеты. Взяла две.

— Две вплету, — сказала она. — Три — в землю.

— В землю — в три места, — подал голос отец со своей половины; он не спал, он никогда не спал, когда говорили о деле. — Не в одно. Серебро, что лежит кучей, находят кучей.

Так и сделали. А через день коса Айелин зазвенела на три голоса, и Бозкур ловил себя на том, что слушает этот звон, как слушают воду.

Дюжину железных наконечников — узких, злых — он купил у проезжего кузнеца молча и убрал в колчан молча. Айелин видела. Промолчала тоже. В степи не спрашивают, зачем мужчине железо. Степь сама спросит.

С отцом он проговорился перед рассветом, на исходе первой недели.

Лица в ту ночь стояли долго, и Бозкур вышел из юрты — глотнуть холода. У остывшего очага, сложенного снаружи для большого котла, сидел отец. Просто сидел, опираясь на посох, лицом к востоку, где небо едва начинало сереть.

— Тоже пришли? — спросил отец, не оборачиваясь.

— Пришли.

— Садись.

Бозкур сел. И здесь, в сером предрассветном холоде, глядя не на отца, а туда же, на восток, он рассказал то, чего не рассказывают за мясом. Про овраг и про то, как хорезмийская стража рубила всех без разбору. Про восемь из двадцати. Про Жаксыбека, которому стрела пришла сбоку, и про Жаппаса, от которого осталось пустое седло. Про торг над розовой водой — как Темир продал купцам всё бековое добро до последней пряжки, потому что вещь говорит, а серебро немое. Про коней бека — строевых, одной южной кости, про железо — одно к одному, казённое, про выучку, какой не бывает у сброда.

Отец слушал, не перебивая. Только посох под его ладонями изредка поворачивался, как ворочается старый пёс.

Когда Бозкур замолчал, отец долго не отвечал. Потом поднял лицо к небу — чистому, предрассветному, без единого облака от края до края, самому мирному небу года, — и сказал:

— Даже после года хорошей погоды приходят ураганы.

Помолчал. И добавил, ровно, как говорят «подай воды»:

— Купи выючных лошадей.

Бозкур повернулся к нему:

— Зима на носу. Зачем? Кормить их до травы — это сено, это расход. Весной куплю, по дешёвке, сколько скажешь.

— Ураганы, сынок, — сказал отец. — Ураганы.

И больше не объяснил ничего. Встал, тяжело, опёрся на посох и пошёл в юрту — спать те два часа, которые ещё оставались у стариков от ночи.

Бозкур остался сидеть. Он не понял. Он честно не понял — при чём тут выючные лошади, лишние рты в зиму, когда каждый сноп на счету. Но отец сказал дважды одно слово, а отец никогда не говорил дважды просто так.

Через пару дней он поднялся на тот самый холм.

Сам не заметил, как Боз-Ат вынес его туда: руки бросили повод, конь пошёл знакомой дорогой — и вот уже пологая вершина, жухлая трава и весь мир по кругу до самого края. Бозкур спешился, отпустил коня — тот сошёл в распадок, на старое место, — а сам лёг на спину, раскинув руки под затылком.

Трава пахла полынью и стылой землёй. Над степью стояло последнее тепло года — то самое, ворованное, которое осень иногда возвращает перед тем, как захлопнуть дверь. Ветер шёл с юга, тёплый и ласковый, как ни в чём не бывало.

И в небе были облака.

Первые за три недели — два или три, небольших, неторопливых. Одно было похоже на лошадиный круп. Бозкур смотрел на него и усмехался: два месяца назад он лежал на этом самом месте, и в небе плыло такое же, и жизнь была простой — степь, конь, юрта, огонь. Потом на холм поднялся Темир, грыз сухой стебель и говорил про псов, которые кормятся сами. С этого холма всё началось.

Сейчас всё было хорошо.

Он перебирал это в голове лениво, как перебирают серебро: овцы в загоне — раз. Мука и соль — два. Загон на столбах — три. Серебро в земле, в трёх местах, — четыре. Коса Айелин звенит — пять. Зима придёт — и впервые найдёт его юрту полной. Впервые за девятнадцать лет он лежал на этой земле и ничего не был ей должен.

Завтра, думал он сквозь дрёму, надо съездить к соседям за выючными. Двух хватит. Зачем — он так и не понимал: лишние рты, сено, расход. Но отец дважды не повторяет, а тут повторил. Значит — двух выючных. Пусть жуют.

Тенгри смотрел на него сверху.

Лежи, — говорило небо. — Пока можешь — лежи.

Копыта он слышал раньше, чем их почуял Боз-Ат.

Лёгкий всадник. Кобыла идёт неспешно, ровно — её не гонят, и она знает дорогу. Бозкур не открыл глаз. Прислушался, как учил покойный Сарбас, — и улыбнулся раньше, чем понял, что улыбается.

Айелин спешила, бросила повод — старая кобыла тут же потянулась к траве, к Боз-Ату, — поднялась на вершину и легла рядом. Просто легла, как он: на спину, лицом в небо. Помолчали.

— Арлан объявил войну новому барану, — сказала она наконец. — Выбрал самого крупного. Говорит — этот смотрит нагло.

— Порода такая, — сказал Бозкур. — У Арлана.

— У барана тоже.

Они говорили о том о сём — что овцы прижились, что сена должно хватить, если зима не залютует, что у соседей сосватали дочку и весной будет той, — лениво, вполголоса, как говорят люди, которым некуда спешить. Облако-круп тем временем вытянулось, истончилось и стало ни на что не похоже.

Потом она нашла его руку. Перевернула ладонью вверх. Провела пальцем по подушечкам — по свежим рубцам, белым, ещё жёстким, там, где тетива срезала кожу.

— Это от лука, — сказала она. Не вопрос.

— От лука.

— Так не бывает от лука. Ты стреляешь с детства.

Бозкур долго молчал. Облака шли. И он рассказал — здесь, на холме, где всё началось, ей одной то, чего не рассказал даже отцу.

Про Холодный ключ. Про то, как вёл наконечником спину первого дозорного — широкую, мирную спину человека, который наклонился попить. И как перед глазами вдруг встала зима: седая мёртвая степь, их юрта с откинутым пологом, чёрный проём — и из шанырака не идёт дым.

Пальцы Айелин на его ладони сжались — чуть-чуть, на один вдох, — и разжались.

— А потом — щелчок, — сказал он. — И всё. Дальше я не помню. Ничего не помню, Айелин. Усен потом рассказал: я встал в полный рост, хотя должен был сидеть в камыше. Стрелял без пауз — рука сама ходила от колчана к тетиве, как у других ходит сердце. Тетива

резала пальцы, кровь летела — я не чувствовал. Восемь стрел — слетали с тетивы одна за другой, как искры. По две стрелы на одного человека — не было шанса выжить. А потом я потянулся за девятой. В пустой колчан. И стоял так, с пустотой в кулаке. Это мне рассказали. Сам я очнулся от крика Аяна — а между щелчком и криком у меня черно. Как вода ночью.

Айелин лежала неподвижно. Очень неподвижно — так замирает степь под тенью беркута.

— Я видела, — сказала она тихо. — Тогда. Со змеей. Нож оказался у тебя в руке — а я не видела, как ты его доставал. Никто не видел. Ты сам не видел. — Она повернула голову и посмотрела на него близко, в упор, тем взглядом, который он не умел читать до конца. — Это одно и то же.

— Не знаю. Наверное.

Она снова отвернулась к небу. Молчала долго — последнее облако истаявало у горизонта, и небо становилось таким, каким было все эти недели: чистым до звона. И тогда она прошептала — тихо, почти беззвучно, не ему и не себе, а куда-то вверх, туда, куда уходят все степные шёпоты:

— Будь осторожней. Тебя ведёт сам Тенгри.

Бозкур повернулся к ней:

— Это хорошо или плохо?

Айелин ответила не сразу. А когда ответила, голос у неё был ровный, как всегда, когда она говорила самое важное:

— Тех, кого ведут, не спрашивают, куда.

Домой ехали стремя в стремя, шагом, не торопя коней. Солнце садилось за спиной, и две длинные тени бежали перед ними по жухлой траве — рядом, не размыкаясь.

Назавтра Бозкур съездил в соседний аул и купил двух выючных — лохматых, широкоспинных, неказистой степной кости, из тех, что не побегут быстро, но понесут много и далеко. Мать вздохнула о сене. Отец посмотрел на лошадей одним глазом, кивнул и ушёл в юрту.

Никто ничего не понял. Но никто и не спорил: слово отца в этой юрте было законом, даже когда было загадкой.

Потом были хорошие недели.

Степь стояла в той редкой поздней благодати, когда осень уже всё решила, а зима ещё не пришла получать. Утренники брали траву инеем, к полудню иней сходил, и небо, отдав степи те два-три облака, снова висело над аулом чистое день за днём, как вымытая пиала. Овцы — новые, полтора десятка, ещё дичились загона. Арлан патрулировал хозяйство с ножом на поясе и камчой в руке, и Басар ходил при нём вторым номером. Карлыгаш обзавелась третьим зубом и научилась хватать всё, что блестит, — Айелин теперь прятала от неё косу. Коса звенела.

Бозкур работал от темна до темна и впервые за годы ложился без мысли о том, чем кормить семью в джут. Лица приходили по ночам, но он уже умел с ними — лежал тихо, переживал, как переживают дождь. Хорошие были недели.

Он потом долго будет мерить ими всё хорошее.

Аян пришёл с юго-запада на исходе третьей недели — намётом, какого не выдерживают кони.

Бозкур увидел его издали, с загона: точка на белёсой степи росла слишком быстро, и что-то в её беге было неправильное — так не ездят в гости, так не везут торг. Так возят беду. Мышастый тарпан влетел в аул весь в мыле, в хлопьях, с безумным глазом, и Аян не спешился — он упал с коня и устоял только потому, что вцепился в гриву. Малахай сполз ему на брови. Белая строчка шрама на горле дёргалась вместе с кадыком.

— Темир, — сказал он. Голос сорвался, он сглотнул и закончил октавой ниже: — Темир мёртв.

Стало очень тихо. Так тихо, что слышно было, как тяжело, со всхлипом, дышит загнанный тарпан.

Отец стоял на пороге юрты, опираясь на посох. Он не переспросил. Он поднял лицо к небу — чистому, высокому, без единого облака — и сказал одно слово:

— Ураганы.

И — Аяну, тем же ровным голосом, каким встречают любого гостя, потому что обычай старше беды:

— Заходи в юрту, сынок. Заходи. Выдохни. Выпей кумысу. И рассказывай.

Аян дёрнулся на слове «сынок», как от ожога, — давно его никто так не звал. Зашёл. Сел, куда посадили. Мать налила ему последнего кумыса года — позднего, крепкого, — и пиала ходила у мальчишки в руках, пока он пил. Допил. Выдохнул. И рассказал.

Темира нашли в двух полётах стрелы от его аула. На дороге. Конь стоял рядом — целый, под седлом. Серебро при нём, наручи на нём — все четыре, никто не тронул ни пряжки. Грабёж тут не ночевал. В сердце у Темира сидел кинжал — хорезмийский, дорогой, с серебряной насечкой по рукояти. Его не вынули. Его оставили.

— Оставили, — повторил отец тихо. — Подпись.

— Степь говорит... — Аян слотнул. Узун-кулак, длинное ухо степи, доносит быстрее любого гонца, и доносит страшное. — Степь говорит, караван-баши торговал бековым добром по дороге на север. Кони южные, строевые, тавро на них казённое. Куяки. Сабли. Кто-то узнал тавро. За стариком пришли люди с юга. Его пытали. Долго. Что от него осталось — нашли у дороги, как и Темира, только без кинжала: на купцов подпись не тратят. А старик... — Аян посмотрел на свои руки. — Старик под железом сказал всё, что знал. Старики под железом всегда говорят всё.

А знал он лица.

Бозкур почувствовал, как в животе у него медленно поворачивается холод. Он стоял тогда в трёх шагах за спиной Темира — над розовой водой, при свете дня. Молодой. Скуластый. Серый конь с тёмным пятном на правом плече. Старик видел его так же ясно, как видел Темира. Старики, которые сорок лет водят караваны, помнят лица лучше, чем долги.

— И ещё, — сказал Аян. — Про самого бека. Теперь говорят... — он понизил голос, хотя в юрте были все свои, — теперь говорят, Кулан-бек был не просто пёс, отбившийся от стаи. Он родич человека, что сидит близко к самому Текишу. Из ближних. Из тех, кому шах руку подаёт. Бек слал ему вести — серебро ли, поклоны, своё ли что. Вести кончились. Родич подождал. Потом послал людей искать. А искать им долго не пришлось: добро бека само кричало с купеческих возов на всю дорогу.

Глупо, подумал Бозкур, и холод в животе повернулся ещё раз. Глупо было не прочесть с самого начала: кони строевые, железо казённое, одно к одному, выучка постоянного войска. У вольной шайки не бывает такого порядка. Псы не бывают бесхозными.

«Чи псы?» — спросил он тогда, на холме, год назад — нет, два месяца назад, целую жизнь назад. «Сейчас уже ничьи», — ответил Темир.

Темир ошибся. Один раз за всю свою умную, осторожную, выверенную жизнь. И ошибки хватило ровно на один хорезмийский кинжал.

— Я был у близнецов, — говорил Аян. Голос у него выровнялся: рассказанная беда легче нерассказанной. — Они знают. Асан сказал — пусть приходят, у него топор сучает. Усен сказал... неважно, что сказал Усен. Еду к Тилеу и Бошаю, они на солончаках, до них весть ещё не дошла. Нас восемь, Бозкур. Старик видел не всех. Но он видел Темира — и Темира нет. Он видел тебя.

В бесике агукнула Карлыгаш — громко, довольно, на всю притихшую юрту. Звякнули пуговицы оберега. Все вздрогнули от этого мирного звука, как не вздрагивали от слова «мёртв».

Отец сидел у очага, сложив руки на посохе, и смотрел в огонь зрячим глазом. Потом перевёл его на сына.

— Теперь понял, — спросил он, — зачем лошади?

Бозкур понял.

Он вышел из юрты. В новом загоне, у врытых карагачёвых столбов, две лохматые выючные лошади жевали сено — широкоспинные, неказистые, купленные непонятно зачем за две недели до того, как стало понятно. Отец купил им не лошадей. Отец купил им фору.

Над степью стояло небо — высокое, вымытое до звона, без единого облака от края до края. Самое чистое небо года.

Бозкур стоял и смотрел в него, и впервые в жизни видел в чистом небе бурю.

Она шла с юга. Беззвучно. Не тронув ни облака.

Глава восьмая. Кара шанырак

Совет собрали в тот же вечер, при закрытом пологе.

Сидели все: отец на торе, почётном месте против входа, сложив руки на посохе; мать у очага, не выпуская из пальцев работу — пальцы её не умели сидеть без дела даже в беду; Айелин с Карлыгаш на коленях; Арлан, которого никто не гнал спать, потому что в такие вечера дети должны слышать, как взрослые решают, — так они потом сами учатся решать. Аянов кумыс ещё стоял недопитый у входа. Беда сидела в юрте шестой, на самом почётном месте, и все делали вид, что её не замечают, как велит обычай.

Бозкур говорил коротко. Он умел теперь коротко.

— Старик видел меня. Молодой, скуластый, серый конь с пятном — таких примет хватит. Кинжал в сердце Темира — не месть. Это печать на письме. Письмо разослано всем нам восьмерым. — Он помолчал. — Они придут. Не завтра. Может, не до весны — зимой хорезмиец в степь не ходок. Но придут.

— Что предлагаешь? — спросил отец.

— Уйду один. — Бозкур смотрел в огонь, не на жену. — На юг даже. Покажусь у Сыра, наслежу. Уведу след от юрты, как птица уводит от гнезда. А вы останетесь, и никто...

— Нет, — сказала Айелин.

Она сказала это не громко и не испуганно. Она сказала это так, как говорят «вода в казане закипела», — сообщая то, что уже есть.

— Ты не уйдёшь один. Куда ты — туда мы. Юрта — это не место, где стоят кереге. Юрта — это мы вокруг огня. Унеси огонь — и здесь останется просто круг примятой травы.

Бозкур открыл рот. Отец поднял ладонь, и он закрыл.

— Женщина права, только не знает почему, — сказал отец. — Слушай почему. Ищейка не гонит волка по степи — ищейка выжигает логово. Хорезмийцу не нужен ты, бегающий. Хорезмийцу нужен ты, стоящий на коленях. А на колени мужчину ставят не саблей. Семей. Возьмут твоих — и ты сам приползёшь к ним, и они это знают лучше тебя. — Он перевёл дух, задавил кашель. — Приманку в степи не оставляют. Уходим все.

Стало тихо. Огонь съел кизячину и попросил ещё; мать подала ему, не глядя.

— Куда? — спросил Бозкур.

— На север. — Отец сказал это так, словно ответ лежал у него за пазухой давно, ещё с того разговора про лошадей. — Вглубь Дешта. К началу Каспия, на Жем. Там зимуют роды твоего нагаши — Борибая, материного брата. Двадцать лет не виделись, но степь родства не забывает: кровь — не след, её снегом не заносит. — Он чуть качнул посох. — Рука у хорезмийца длинная, да на юг. На север она короткая: там его серебро не ходит, его слово не весит, а его солдат в зимнем Деште — покойник, который ещё не лёг. И снег. Снег пойдёт за нами — пусть идёт. Снег, который гонит, тот же снег и прячет.

— А могилы? — тихо спросила мать. Первый раз за вечер. — Деды здесь лежат. Кто им весной...

— Мёртвым степь не тесна, — сказал отец. Мягче, чем говорил всё остальное. — Небо одно — и здесь, и там. Под каким ни ляг — под Тенгри лежишь. — И, помолчав: — Юрту большую не повезём. Кереге срубим новые на месте, тальник везде растёт. Но шанырак... — он поднял единственный глаз к чёрному кругу над головой, к сорока годам дыма, — шанырак не рубят. Шанырак наследуют. Шанырак поедет.

Так решилось. Без крика, без слёз — как решаются в степи все большие вещи: коротко, при огне, навсегда.

Той же ночью Бозкур и Айелин выкопали серебро. Все три места она нашла без меток, в темноте, с одного шага — у неё в голове была своя степь, размеченная точнее любой. Монеты вернулись в кожаный кисет холодные, пахнувшие землёй. Земля отдавала их неохотно.

— Запомнила бы и десять мест, — сказала Айелин, отряхивая ладони.

— Верю, — сказал Бозкур. И верил.

Сборы заняли пять дней, и эти пять дней аул не спал.

Большую юрту разбирали всей семьёй. Кереге складывались со скрипом и стоном — старое дерево разгибалось, как разгибается старик, по одному суставу. Уйки вязали в вязанки, войлоки скатывали в тяжёлые, пахнувшие сорока зимами рулоны. Шанырак снимали последним.

Его спустили на арканах — медленно, как спускают раненого. Отец стоял внизу и принял чёрный круг на руки, хотя руки уже не те и все это видели. Он провёл ладонью по закопчённому ободу — по тому месту, где дерево отполировано прикосновениями трёх поколений, — и ничего не сказал. Потом шанырак обернули чистой кошмой и увязали, как увязывают невесту в дорогу.

Мать выгребла из очага горсть живых углей в глиняный горшок с золой и закрыла крышкой.

— Очаг едет с нами, — сказала она Арлану, который надзирал. — Огонь не оставляют сиротой.

Овец сторговали соседям — себе в убыток, да зато быстро: степь знала, что у Карамановых горит под ногами, и совестливые давали честную цену, а бессовестным отец смотрел в лицо единственным глазом, и цена становилась честной. Двенадцать овец ушли за старого верблюда.

Верблюд был бактриан, бурый, лохматый, лет пятнадцати, с мордой существа, которое всё в этой жизни видело и ничего не одобрило. Он вошёл во двор, оглядел сборы, юрты, людей — и плюнул. Не в кого-то. В мироздание.

Арлан подошёл знакомиться. Постоял. Спросил у деда:

— А мы его есть будем?

— Нет. Он возить будет.

— Тогда назову. — Еду не называют, это Арлан усвоил твёрдо, а тут открывалась законная возможность. Он обошёл верблюда кругом, оценил презрение в его глазах и вынес: — Мырза.

— Почему Мырза? — спросила Айелин.

— Смотрит, как мырза. Будто мы все ему должны.

Верблюд повернул голову, посмотрел на Арлана сверху вниз — долго, со всей высоты своих горбов и своего жизненного опыта — и ничего не сделал. Это было утверждение имени.

Аян прискакал на четвёртый день — и на этот раз шагом въехал в аул, а не упал с коня, и от одного этого у всех отлегло.

На поясе у него висела сабля. Новая, простая, кыпчакскойковки, в ножнах без единой бляшки — из тех, на которые на торжище не оборачиваются. Он перехватил взгляд Бозкура и чуть выпрямился:

— Купил. На твоё. Как Темир велел — простую, которую никто не вспомнит. — И добавил, упрямо: — Долг за мной. Теперь больше.

— Долг растёт, — согласился Бозкур.

— Долг — это хорошо, — серьёзно сказал Аян. — Долг держит человека на земле. Должника Тенгри бережёт: ему помирать нельзя, не расплатился.

Сказал — и сам не понял, что сказал, а у Бозкура опять тонко заныло под рёбрами слева. Он не стал разбирать.

Новости Аян выложил за чашкой — мать налила ему первому, не спрашивая: этого мальчишку здесь теперь кормили, как кормят своих. Все восьмеро предупреждены. Близнецы

снялись и ушли вверх по Итилю, к какой-то родне; Асан велел передать два слова: «Степь круглая». Тилеу отлёживается с бедром у солончаковых, Бошай дышит и ругается — значит, здоров. А на торжище у брода чужие люди спрашивали — вежливо, с серебром в пальцах — про человека с ожогом на шее. И про молодого. Скуластого. На сером коне с тёмным пятном.

В юрте стало тихо. Айелин, не поднимая глаз, продолжала шить.

— А у тебя что за дела? — спросил отец.

— Двенадцать юрт, — сказал Аян. — Те, что плакали по своим. Жоктау слышно далеко, ата. Для нас это горе, а для ищейки — метки на степи: где плакали, там и жил тот, кто ходил с Темиром. Кто-то должен объехать их и сказать, чтобы прикусили языки и держали наготове коней. — Он дёрнул подбородком, малахай сполз, он вернул его кивком. — Меня старик-караванщик не видел. Я был при конях. Мне ездить безопаснее всех.

— Сирота едет предупреждать семьи, — негромко сказала мать, ни к кому. — Вот и пойми, кому Тенгри что раздаёт.

Аяну зашили рукав — Айелин распорол старый шов, тот самый, с Холодного ключа, перешитый наспех чужими руками, и положила свой, частый.

— Теперь не разойдётся, — сказала она.

Аян посмотрел на шов так, словно ему зашили не рукав.

Провожали его на следующее утро, у коновязи. Мать увязала ему в тороки курта и сала на две недели пути — он попробовал отказаться и был побеждён без боя. Бозкур держал его стремя.

— Мы откочёвываем на север, — сказал он. — Вглубь Дешта, на Жем, к началу Каспия, к роду Борибая. Будешь в тех краях — найди нас. Спроси зимовья по Жему, спроси Борибая, скажи — к Бозкуру. Ты будешь желанным гостем. Всегда.

— Всегда, — повторил отец с порога. Как печать поставил.

Аян кивнул. Сел в седло — уже не падая и не карабкаясь, а как садятся мужчины, которым это привычно. Мышастый затанцевал под ним, чуя дорогу.

— Аян, — сказал отец.

Мальчишка обернулся.

Отец стоял, опираясь на посох, и смотрел на него снизу вверх единственным глазом — долго, так, что Аян перестал ёрзать и замер.

— Если ловят степного орла, — сказал отец, — он либо молчит, либо улетает в другую сторону от своего дома.

Аян выдержал взгляд. Потом медленно кивнул:

— Если спросят — я скажу, что вы подались на юг. К Сыру.

— И не соврёшь, — сказал отец. — Мы там были.

Аян улыбнулся — широко, по-домашнему, как умел только он, — вздёрнул малахай кивком и дал коню волю. Мышастый взял с места, как камень с обрыва, и пошёл, и пошёл, и стал точкой, и точка растаяла в белёсой степи.

Бозкур смотрел вслед, пока было на что смотреть. Голос внутри — тот, старший, что складывал в суму лица и слова, — на этот раз молчал.

«Запомни это», — сказал Бозкур сам. На всякий случай. За него.

Вышли на шестое утро, затемно.

Аул снимался следом — не на север, кто куда: семь юрт растеклись по степи, как ртуть из разбитой плошки, каждая к своей родне, и сговорено было у всех одно: спросят — Карамановы ушли к Сыру, на юг, ещё по теплу. Степь умеет молчать. Степь умеет и говорить неправду — если её попросил уважаемый человек.

Караван построился сам, как строится вода в русле: Бозкур впереди на Боз-Ате, за ним Мырза — шанырак, юрта, бесик и весь дом на двух горбах, — потом мать на смирной кобыле с горшком углей у седла, Айелин с Карлыгаш в кожаном кошеле у груди, выючные, отец замы-

кающим на старом мерине, прямой, как копьё. Арлана определили на Мырзу, в гнездо между горбами, и он принял пост с лицом хана, обзревающего владения.

Басар обошёл напоследок пустые круги примятой травы — там, где сорок лет стояли юрты, остались только эти круги да камни очагов, — посидел на месте своей, бозкуровой, поднялся и пошёл вперёд, в голову каравана, не оглядываясь.

Пёс решил за всех.

Мать оглянулась один раз — на чёрные камни своего очага. Отец не оглянулся. Бозкур тоже: он умел уже. Айелин ехала, прижав ладонь к кошелью, где спала дочь, и смотрела только на север.

С низкого серого неба пошёл первый настоящий снег — крупный, медленный, обложной. Отец поднял лицо, понюхал ветер и сказал с мрачным удовлетворением:

— Идёт. Хорошо. Пусть идёт следом и подметает.

К полудню снег стёр круги от юрт, камни очагов и все следы на дороге — каравана словно никогда не было на этой земле.

Этого они и хотели.

От этого и щемило.

Глава девятая. Дорога на Жем

Снег шёл за ними три дня, потом отстал.

Он сделал своё дело — слизал след, завалил степь по щётки, превратил мир в одну белую страницу без единой буквы, — и ушёл на юг, по тому ложному следу из чужих слов, что Карамановы оставили для ищеек у Сыра. Небо очистилось, ударил морозец, и степь засияла так, что резало глаз: белое до края, и по белому — синие тени балок да чёрные стежки конских следов, их собственных, единственных на всём свете.

Шли медленно. С верблюдом, с малыми детьми, со стариком — быстро не ходят. Десять-двенадцать вёрст в день, от водопоя до водопоя, от затишка до затишка. Отец вёл караван не по прямой — по памяти, от приметы к примете, которых Бозкур не видел, а отец видел: вон тот курган обходи слева, там по весне топь; у трёх камней не пои коней, вода горькая; ночуй за этим увалом, он держит северный ветер.

— Откуда знаешь? — спросил Бозкур на втором перегоне.

— Ходил, — сказал отец. — Сорок лет назад. С твоим дедом, на эти же зимовья, тем же путём. — Он смотрел вперёд, и единственный глаз его читал степь, как читают знакомое лицо. — Степь не меняется, сынок. Меняются те, кто по ней идёт. Курган стоял, когда дед твой был молод. Будет стоять, когда Арлан состарится. А нас не будет. — Он сказал это без печали, как говорят о погоде. — Потому и надо запоминать дорогу. Дорога переживёт.

Арлан, ехавший на Мырзе в гнезде между горбами, к концу первого дня заскучал и нашёл себе занятие: он командовал караваном. Сверху, с верблюда, ему было видно всех, и он сообщал каждому, что тот делает не так. Мать едет криво. Кобыла идёт медленно. Дед отстал. Айелин укачивает Карлыгаш неправильно — он бы лучше. Верблюд Мырза сносил наездника-командира с тем же бездонным презрением, с каким сносил снег, ветер и само существование, и только изредка поворачивал голову и обдавал Арлана тёплым травяным выдохом, от которого тот заходился хохотом.

— Самый довольный из нас — это тот, кому ничего не объяснили, — сказала Айелин, глядя на сына снизу.

— Он думает, это мы его везём в гости, — сказал Бозкур.

— А разве нет?

Бозкур посмотрел на неё. Она ехала спокойно, прямо, прижав к себе спящую дочь, и лицо у неё было ясное — не беспечное, а именно ясное, как это очищенное морозом небо. Она правда так думала. Для неё это и был переезд в гости — долгий, холодный, но в гости: к родне, к теплу, к новой жизни у моря, которого она ни разу не видела.

И ему вдруг стало легче. Не потому, что она была права, — она не была. А потому, что рядом с ней и вправду выходило так, будто они едут в гости. Будто за спиной не убитый Темир с кинжалом в сердце, не выжженный страхом аул, не люди с серебром в пальцах, спрашивающие про скуластого на сером коне. А просто дорога. Просто зима. Просто семья едет к родне.

Он знал, как есть. Она знала, как должно быть. И почему-то её незнание грело крепче, чем его знание леденило.

«Вот за это», — подумал Бозкур и сам не закончил мысли. Не было слов. Слова у него были все грубые.

Воров они встретили на пятый день, у Кособокого колодца.

Колодец был старый, степной, обложенный камнем — единственная вода на дневной переход, и потому у таких колодцев всегда кто-нибудь да есть. Эти были — трое, при пяти конях, у чахлого костерка из кизяка. Молодые, оборванные, с голодными глазами. Не воины — из тех, кого джут или беда выбили из рода и пустили по степи побираться и приворовывать. Барымтачи мелкого пошиба: где плохо лежит коняга — там и их.

Они оглядели караван — верблюд, юрта, бабы, дед, один мужик в годах верхом — и переглянулись. Бозкур видел этот переглядон. Он читался просто: добыча.

Заночевать пришлось рядом — другой воды не было. Отец велел встать чуть поодаль, костры на виду, и сказал тихо:

— Коней на ночь — в круг, путы двойные, Басара не привязывать. И не спи в полглаза. Спи в четверть.

Ночью они полезли. Само собой — за конями: выючные плохо привязаны (нарочно плохо), Боз-Ат хорош, кобылы целы. Двое поползли к коновязи, третий остался у костра — стеречь своё да смотреть.

Дальше всё вышло быстро и совсем не так, как в песнях о лихих набегах.

Басар взял первого молча — серый пёс в серой ночи, без лая, просто возник из темноты и сомкнул челюсти на икре. Вор заорал так, что проснулась бы и мёртвая степь. Второй дёрнулся к коню — вскочить, уйти, — и налетел грудью на Бозкура, который не спал и в четверть, а не спал вовсе. Бозкур не стал рубить. Зачем рубить голодного мальчишку — себе же кровную месть наживать да руку марать о дурака. Он просто перехватил его поперёк, как мешок, и приложил спиной о мёрзлую землю — крепко, чтоб отозвалось в зубах. Вышибло дух. Вор лежал, хватал ртом воздух и не помышлял о конях.

Третий, у костра, вскочил было с ножом — и обнаружил перед собой отца. Старик не спешил. Он сидел на мерине (когда успел сесть — никто не заметил, старики на войне успевают раньше молодых) и держал поперёк седла найзу — не Темирову, свою, старую, которую вёз в обозе и которую, оказывается, держал под рукой все эти ночи. Остриё смотрело вору в горло с того ленивого расстояния, с какого бьют без замаха.

— Брось, — сказал отец. Не громко.

Вор бросил.

При свете раздутого костра разглядели добычу. Трое сопляков, младшему — меньше, чем Аяну. Кожа да кости. Тот, которого взял Басар, скулил и зажимал прокушенную ногу; пёс сидел рядом и смотрел на него с профессиональным интересом — не доест ли. Тот, которого приложил Бозкур, отдышался и сел, держась за спину, и в глазах у него была уже не алчность, а тоскливая обречённость человека, привыкшего, что его бьют.

— Чьи будете? — спросил отец.

Оказалось — ничьи. Род с низовьев, выкошенный джутом две зимы назад: пали овцы, потом пали старики, потом разбрелись живые. Эти трое прибились друг к другу и кормились степью, как могли, а могли плохо. Коней, что при них, — и тех увели у кого-то, потому что свои давно проедены.

Мать слушала, поджав губы. Потом, ни слова не говоря, ушла к своим тюкам и вернулась с куском вяленого мяса и горстью курта. Сунула младшему — тому, что плакал.

— Ешь, — сказала она тем же голосом, каким говорила это Арлану, Аяну, всем. — Воровать сытым — грех вдвойне. Голодным — хоть наполовину простительно.

— Ана, — сказал Бозкур негромко. — Они к нам в коней лезли.

— Лезли, — согласилась мать. — И ты их проучил. А теперь они поедят. Одно другому не мешает. — Она оглядела троицу. — Тенгри смотрит, кто как поступает, когда легко ударить. Ударить голодного легко. А ты не бей. Ты дай поесть ипусти. Это он тоже видит.

Айелин стояла рядом и смотрела на воров без страха и без злобы — с любопытством, с жалостью даже.

— Они же не злые, — сказала она тихо Бозкуру. — Им просто нечего есть. Будь у них стадо — разве полезли бы?

— Полезли бы, — сказал Бозкур. — Сытый барымтач — это не голодный, который наелся. Это другой человек. Этих джут выгнал, тех — жадность. Жадность не кормят досыта, она не наедается.

— Нет, — Айелин качнула головой, упрямо и ясно. — Я не верю. Накорми человека, дай ему дом — и зачем ему чужое? У сытого сердце добреет.

Бозкур не стал спорить. Он много чего повидал за два месяца и знал, что сытое сердце добреет не у всех, а у иных, наоборот, наливается от сытости спесью и тянется отнять у соседа последнее, потому что своё уже есть, а хочется и чужого. Он знал это. Но Айелин смотрела на него своими ясными глазами и так верила в то, что сытый добреет, что спорить было — как плюнуть в чистую воду.

И опять, как на холме, как всю дорогу, рядом с её верой мир на короткий миг становился лучше, чем был. В этом мире голодного надо просто накормить — и зла не станет. Хороший был мир. Жаль, ненастоящий.

Утром воров отпустили. Коней им оставили — всех пятерых, даже краденых: отец рассудил, что без коней они в зимней степи попросту лягут, а лишней смерти на караван навешивать незачем — у каравана и так дорога не из лёгких. Младшему мать сунула ещё курта в дорогу. Тот, которого Басар, хромал к седлу и оглядывался на пса с ужасом.

— Куда теперь? — спросил отец у старшего.

— Не знаем, ата. Куда степь пустит.

Отец помолчал.

— На север не ходите, — сказал он наконец. — Там нас нет. Понял? Нас на севере нет. — И, видя, что парень не понял: — Кто спросит про верблюда, бабу с дитём и старика с одним глазом — мы пошли на юг. К Сыру.

Старший вор посмотрел на отца, на найзу у его седла, на сытое впервые за долго брюхо своих, на курт в кулаке младшего. И понял, чем платят за доброту.

— На юг, — кивнул он. — К Сыру. Видел, как уходили. Сам видел.

— Вот и хорошо, — сказал отец.

Так у лжи про Сыр стало ещё трое свидетелей. Дешёвых. Сытых. Благодарных. Лучших свидетелей, чем те, кому платят серебром.

Арлан всю дорогу потом переживал, что коней отдали.

— Пять коней! — сокрушался он с верблюда. — Можно было оставить! Хоть одного!

— Нельзя, — сказал дед.

— Почему?

— Потому что чужой конь говорит, — сказал Бозкур, и сам удивился, что повторяет Темира слово в слово. — А краденый — кричит.

Встречную семью занесло у них на пути на восьмой день — буквально занесло, снегом.

С вечера задул северный, потянул позёмку, к ночи перешёл в борун — не буран ещё, но крепкую снежную круговерть, в которой степь исчезает в трёх шагах. Отец вовремя завёл караван в глубокую балку, в затишек, велел поставить юрту наспех, не всю, в три кереге, лишь бы стены да огонь, — и они пересидели ночь в тесноте и тепле, слушая, как наверху воеет.

А наутро, когда улеглось, Басар забеспокоился и повёл носом вверх по балке. Бозкур пошёл за ним и в полуверсте, под надувом, нашёл то, что пёс учуял: занесённую почти по шанырак чужую юрту, осевшую, с провалившимся от снега верхом. Из-под снега не шло дыма.

Внутри была семья. Старик, старуха, женщина и трое детей мал мала меньше — переселенцы, как и они сами, только без удачи: верблюд пал ещё до бурана, кони ночью оборвали путы и ушли по ветру, очаг залило талым, дрова кончились. Они замерзали — тихо, как замерзают в степи: не в муке, а во сне, который не отпускает. Старик ещё держался, грёб остатки тепла на детей, обложив их собой и старухой. Женщина уже не вставала.

Бозкур разрыл вход. Отец, заглянув, коротко бросил:

— Живых — к нам. Всех. Быстро.

Их перенесли в свою балку, к своему огню. Мать с Айелин раздели закоченевших детей, растёрли снегом — да, снегом, не у огня сразу, иначе отойдёт кровь рывком и убьёт, — потом

завернули в свои корпе, отпаивали тёплым молоком от кобылы по капле. Карлыгаш, согнанную с тёплого места, на время сунули Арлану за пазуху; Арлан отнёсся к должности грелки со всей серьёзностью и не пикнул.

Отходили всех. К вечеру младший из чужих детей уже хныкал — а хнычущий ребёнок в степи это музыка, это значит, отпустило, значит, будет жить. Женщина пришла в себя ночью, увидела детей живыми и заплакала — беззвучно, одними слезами, потому что на голос сил не было.

Чужого старика звали Жанберген, и был он, как выяснилось у ночного костра, дальней родней — не Карамановым, а Борибаю, тому самому, материному брату, к кому они и шли. Степь круглая, как сказал Асан. Жанберген тоже правил к зимовьям на Жем — да не дошёл бы, кабы не Басаров нос.

— Тенгри вас послал, — сказал старик, кланяясь над пиалой. — Прямо Тенгри.

— Пёс послал, — поправил отец. — Тенгри только надоумил пса.

Дальше пошли вместе. Стало в караване шумнее, теснее и — странным образом — спокойнее: две семьи в зимней степи держатся крепче одной, и беда, разделённая надвое, весит меньше, чем целая.

— Видишь, — сказала Айелин Бозкуру той ночью, тихо, чтоб не разбудить детей — своих и чужих вперемешку. — Я же говорила. Помогли чужим — а они оказались родней тех, к кому едем. Добро возвращается. Всегда возвращается.

— В этот раз вернулось, — осторожно сказал Бозкур.

— Оно всегда возвращается. Просто иногда не видишь как.

Бозкур промолчал. Он видел за два месяца и другое: как добро уходит в песок без следа, как за добро платят кинжалом в сердце, как хороший осторожный человек по имени Темир делал всё правильно — и лежит теперь у дороги. Добро не всегда возвращается. Чаще не возвращается вовсе. Но Айелин лежала рядом, тёплая, и верила, что мир устроен справедливо, что за добро воздаётся и круг всегда замыкается, — и в темноте, под вой утихающего ветра, рядом с этой верой даже мёртвый Темир на короткий миг укладывался в какой-то больший, справедливый счёт, которого Бозкур не видел, а она видела.

Может, она и видела. Может, у неё просто были другие глаза.

Он надеялся, что её глаза правдивее. Он боялся, что правдивее — его.

Волков они увидели на льду — у самого выхода к Жему, на четырнадцатый день.

Река стояла подо льдом, широкая, забитая снегом, и караван шёл вдоль берега, высматривая брод-переезд, указанный Жанбергеном. И тут на том берегу, на белом, проступили серые точки. Шесть. Потом восемь. Волчья стая — зимняя, голодная, идущая по своему делу вдоль реки, как они шли по своему.

Кони почуяли, заплясали. Мырза заревел утробно. Арлана сдёрнули с верблюда вниз, к матери. Басар встал в голове каравана, ошетинился весь, и из груди его пошёл низкий, ровный рык — не страх, предупреждение.

— Не бежать, — сказал отец резко, на весь караван. — Кто побежал — того и взяли. Стоим. Тесно стоим. Коней в середину, огонь раздуть.

Волки вышли на лёд и встали — на середине реки, серой цепочкой, разглядывая. Вожак — крупный, белёсый, со свалывшимся загривком — сделал несколько шагов вперёд и остановился. Считал. Прикидывал. Восемь волков, два десятка людей и скотины, два пса (Жанберген кобель встал рядом с Басаром), огонь, копыя. Невыгодно. Волк не герой из песни, волк — счетовод почище хорезмийского караванщика: он не нападёт там, где можно проиграть. Голод гонит, да дохлый сытым не бывает.

Бозкур достал лук. Наложил стрелу — железную, узкую. Повёл на вожака.

И — не выстрелил.

Он держал белёсого на острие, сорок шагов, верный выстрел, и палец лежал на тетиве, и вдруг понял, что не хочет. Не потому, что промахнётся. Потому, что незачем. Волк стоял и считал, и счёт его выходил не в пользу драки, и он сейчас уйдёт — если его не злить. Убить вожака — раздражить стаю, превратить расчёт в месть, накликать драку, которой могло не быть. Зачем стрела там, где хватит того, что ты просто стоишь и тебя много?

Он опустил лук.

Отец, заметив, едва приметно кивнул.

— Верно, — сказал он тихо. — Стрелу береги. Не всякого врага надо убить. Иного довольно перестоять.

Они стояли — тесно, плечо к плечу, копыта наружу, кони в середине, огонь чадит на ветру. И волки стояли. Долго, бесконечно долго — на самом деле сотню ударов сердца. Потом вожак повернул голову, что-то решил в своей волчьей голове, развернулся — без спешки, не уступая, а просто закрыв счёт — и потёк дальше вдоль реки. Стая стекла за ним серой водой и пропала за снежным застругом.

Не их добыча. Сегодня — не их.

Арлан, которого всю стычку продержали внизу, у материнной юбки, был возмущён до глубины души:

— Почему не стрельнул?! У тебя лук! Ты бы попал!

— Попал бы, — согласился Бозкур.

— Так чего?!

— А чего убивать того, кто уходит? — Бозкур убрал стрелу в колчан. — Запомни, сын. Сильный — это не тот, кто всех убил. Сильный — это тот, кого побоялись тронуть. Волк сосчитал нас и ушёл. Мы победили, не выпустив стрелы. Это самая лучшая победа: и враг живой, и стрела цела.

Арлан подумал. Это явно не укладывалось в его картину мира, где всех плохих бьют.

— Скучно, — вынес он вердикт.

— Зато все живы, — сказал дед сверху. — Скучно — это когда все живы, малыш. Запоминай: скука — это и есть счастье. Только понимаешь это поздно.

Зимовья Борибая открылись на пятнадцатый день, под вечер.

Жем лежал в долине — река подо льдом, по берегам камыш в снегу, тальник, а в излучине, в затишке от северных ветров, дымили юрты. Много юрт — большой, богатый род, дымы стояли в стылом воздухе прямыми сизыми столбами, и от одного вида этих дымов у Бозкура отпустило что-то в груди, что было сжато всю дорогу.

Их заметили издали — навстречу выехали верховые, и Жанберген, выдвинувшись вперёд, замахал и закричал что-то родственное. А когда разобрались, кто приехал, — когда мать назвала себя и назвала Борибая братом, — со стороны зимовий поднялся тот радостный гвалт, какой бывает в степи, когда из снега и риска вдруг выходит к огню живая родня, которую двадцать лет не видели и не чаяли увидеть.

Сам Борибай — грузный, седой, громкоголосый, лицом похожий на мать так, что Бозкур вздрогнул, — съехал с холма, скатился с коня (он был из тех тучных людей, что в седле легки, а на земле тяжелы) и пошёл к сестре, раскинув руки, и по обветренному лицу его текли слёзы, и он не стыдился их, потому что слёзы встречи — не позор, а честь.

— Живая, — повторял он, обнимая мать. — Живая, сестра. Двадцать зим. Двадцать зим, а ты живая.

Их завели в тепло. Резали мясо, поднимали юрты для приехавших, тащили корпе, кумыс, женщины уводили Айелин и мать в женский круг, мужчины обступали отца и Бозкура, дети немедленно сбились в одну орущую стаю, в которой Арлан, едва ступив на новую землю, уже кому-то что-то доказывал и, кажется, побеждал.

Бозкур стоял посреди этого тепла и шума, держал в руке пиалу с горячим, и впервые за два месяца — с того дня, как Темир поднялся к нему на холм, — не чувствовал спиной чужого взгляда. Здесь их не искали. Сюда не дотягивалась длинная южная рука. Здесь была родня, огонь, зима, переждать которую теперь было где.

Он нашёл глазами Айелин — её как раз вводили в большую юрту, в женское тепло, и она обернулась через плечо и поймала его взгляд. И улыбнулась. Не торжествующе — мягко. Будто говорила: видишь? Я же тебе сказала. Доехали. В гости.

Она была права. В этот раз — права во всём, от первого слова до последнего: и доехали, и родня, и тепло, и добро вернулось, и мир оказался устроен по справедливости, как она и верила.

Бозкур улыбнулся ей в ответ и поднял пиалу.

Он не стал думать о том, что эта зима — только зима. Что весна придёт, и снег сойдёт, и южная рука, переждав холода, снова потянется на север по подсохшей степи — потянется искать скуластого на сером коне. Не стал думать, что фора, купленная отцом за двух лохматых лошадей, — это всего лишь фора, а не спасение, и что отмеренного ею хватит до тепла, а дальше счёт пойдёт заново.

Не сегодня. Сегодня была родня, огонь и её улыбка из дверей тёплой юрты.

Завтра подождёт.

Завтра всегда ждёт. Оно умеет.

Глава десятая. Цена тепла

Большая юрта Борибая дышала теплом, какого Бозкур не помнил с детства.

Здесь всё было в достатке, и достаток был старый, обжитой, не выставленный напоказ. Войлоки в три слоя, текеметы с густым красным узором, по стенам — связки сушёного мяса, кожаные саба с кумысом, медная посуда, начищенная до жара. В казане кипело варёное мясо — не курт, не талкан дорожный, а настоящая жирная конина с потрохами, — и запах её, тяжёлый, сытный, одобренный курдючным салом и дымком, стоял в юрте так плотно, что его можно было, казалось, резать ножом. На низком столике дымился чай с молоком и солью — крепкий, забелённый, какой пьют там, где молока не считают.

Два старика сидели на торе, плечо к плечу: Караман и Борибай. Хозяин и гость, шурин и зять, ровесники по сединам — Борибай был грузнее и краснее лицом, Караман суше и темнее, с мёртвым левым глазом, но в обоих сидела та степная стариковская основательность, рядом с которой молодые невольно понижают голос.

А между ними, чуть позади, как ей и положено, но ближе, чем садятся к чужим, сидела Алтын — мать Бозкура. Впервые за всю дорогу, впервые, может, за много недель её узловатые руки лежали на коленях без дела. Не били шерсть, не сучили нить, не мешали в казане. Просто лежали. Она была дома — у брата, которого не видела двадцать зим, — и тело её, не привыкшее к покою, не знало, куда девать отдыхающие пальцы.

— Двадцать зим, — повторял Борибай уже не в первый раз; он всё не мог наговориться, всё трогал сестру взглядом, будто проверяя, не растает ли. — Я уж думал, тебя степь прибрала, Алтын. Гонец проедет с низовьев — спрашиваю: про Карамановых не слыхал? Не слыхал. Год не слыхал, два не слыхал. А ты вон — живая, и сына привезла, и внуков.

— Прибрала бы, да я несговорчивая, — сказала Алтын. — Ты меня знаешь.

— Знаю. — Борибай засмеялся, колыхнувшись всем телом. — Ты в семь лет мне палец прокусила за то, что я твоего козлёнка дразнил. До кости. Вот, гляди. — Он вытянул толстый палец, на котором и впрямь белел давний шрамик. — Двадцать зим прошло, а метку твою ношу. Кровь, она помнит.

— Так не дразни чужих козлят, — невозмутимо отозвалась мать, и Караман издал короткий сухой звук, который у него означал смех.

Мясо подавал младший сын Борибая — Мурас. Был он лет двадцати шести, крепкий, кражистый, в отца, но лицом другой: открытым, домашним, незлым лицом человека, которого жизнь покуда не учила скалиться. Он обходил гостей, подкладывал лучшие куски — старикам мягкое, без костей, — и делал это ловко, привычно, как делает хозяйский сын, с малолетства приученный, что гость в юрте важнее тебя самого.

— А старшего где держишь? — спросил Караман, принимая кусок. — Сказывали, два сына у тебя.

Что-то прошло по лицу Борибая — тень, какая набегают на степь от одинокого облака.

— Есен, — сказал он. — Старший. Ему теперь тридцать два.

— Есен! — встрепенулась Алтын. — Помню. Я его вот таким помню. — Она показала ладонью от земли. — Упрямый был мальчишка, крепкий, как корешок. Бычка годовалого за рога заваливал. Где он?

Борибай помолчал, отхлебнул чаю.

— На западе, — сказал он наконец. — Далеко, сестра. За Итилем, за Доном, у самого тёплого моря, где-то там. Осел.

И рассказал — медленно, тяжело, как достают из сундука вещь, которую давно не разворачивали.

Есен первым из рода ушёл на запад наёмником. Молодой был, горячий, тесно ему стало в отцовской юрте, в сытой жизни, где всё за тебя решено на сорок лет вперёд. Прослышал, что за Итилём, у каких-то греческих да иных господ, кыпчакская сабля в цене, что платят серебром, что слава там лежит, бери — не хочу. И ушёл. Один, верхом, с луком да молодой дурью.

Через год вернулся.

— И не он это был, — сказал Борибай, и голос у него сел. — Лицом — он. А внутри — чужой. Молчаливый стал. Сидит у огня, смотрит в одну точку, спросишь — ответит через раз. Через всю щёку — шрам, вот так, наискось, скула как пашня. Серебра привёз — ромейского, тяжёлого, с греческими ликами, — целый кисет. Положил матери на колени, а сам... сам будто оставил себя где-то там, за Итилём, а домой одну оболочку привёз.

Он повертел в пальцах пиалу.

— Перезимовал. Молчал всю зиму. А по весне опять засобирался. Мать в ноги — не пушу, второго раза не переживу. А он ей: «Ана, я там уже больше дома, чем здесь. Здесь мне тесно. Там — по мне». И ушёл. Совсем. — Борибай поднял глаза. — Теперь, говорят, дом у него там. Жена — не наша, чужой крови, не то ясыня, не то гречанка, кто разберёт. Сыновья растут. Крепкие, сказывают. Только язык наш знают наполовину — отец-то молчит, а мать своё лопочет. Внуки мои, а встречу — не пойму, что скажут.

В юрте стало тихо. Кипело мясо в казане.

— Запад берёт, — сказал Караман в эту тишину. Тихо, но все услышали. — Уходят туда наши — и не возвращаются. А вернутся — так не теми. Запад — он как солончак: ступишь — держит, пойдёшь дальше — засосёт.

Бозкур слушал молча, как и положено младшему за стариковским разговором. Но что-то в рассказе про неведомого двоюродного брата легло ему на сердце холодным камнем — про чужую жену, про сыновей, что родного языка не знают, про человека, который ушёл на запад и оставил себя где-то за Итилём. Он не знал ещё, отчего этот холодок. Старший голос внутри — тот, что всю дорогу складывал в суму лица и слова, — шевельнулся, отметил рассказ про Есена и спрятал его, как прячут зерно, не зная, прорастет ли.

«Запомни это», — сказал голос.

Бозкур запомнил. Он не понял зачем. Он давно уже не спрашивал.

— Это всё ладно, — сказал Мурас, садясь наконец и сам, после того как обнёс всех. — Это дела давние. А у нас тут дело свежее, ата Караман, и худое.

— Сказывай.

Мурас отёр руки о голенище и заговорил — и открытое лицо его на глазах потемнело.

— Степь у нас тут богатая, сами видите. Жем не пересыхает, трава по пояс, рыба в реке, зимовья тёплые. Жить да жить. Да только с осени завелась на нас беда. Банда. В камышах у Жема, в низовьях, где плавни да солончаки. — Он сплюнул в огонь. — И не барымтачи это, ата. Барымтач — он тоже вор, да у него честь есть: угнал табун — и ушёл, в открытую, по обычаю, можно догнать, можно отбить, можно выкуп взять. А эти — отребье. Сброд. Беглые, лихие, кто из рода выгнан за дело, кто сам ушёл. У них ни чести, ни рода, ни Тенгри за душой.

Он загибал пальцы.

— Ночью приходят. Коней режут прямо в загоне — не угоняют, а режут, со зла, что не увели. Аул пограбят — заберут что плохо лежит, бабу насильничают, девку молодую уведут, а после либо продадут на низовьях, либо... — Мурас не договорил. — Двух девок мы недосчитались с осени. Одну нашли по весне будет, если талая вода вынесет. Другую — никогда.

— Караул держите? — спросил Бозкур. Первый раз за вечер подал голос.

Мурас посмотрел на него — оценивающе, как смотрят на молодого гостя, ещё не зная, чего он стоит.

— Держим, — сказал он. — Каждую ночь. Спим с саблей под головой, по очереди не спим вовсе. Двух коней загнали, объезжая дозором. А толку? Их не поймать. Ударят — и в

плавни, в камыш, в солончак. А там следа нет: вода, грязь, кочки. Конь вязнет, человек тонет. Сунулись раз отрядом — двоих в трясине чуть не оставили, насилу выволокли. С тех пор не суёмся. Сидим, караулим, ждём, когда снова придут.

— Загон крепите? — спросил Караман.

— И загон крепим. Колья вкопали, плетень подняли. — Мурас махнул рукой. — Да что загон. Крепкий загон волка не остановит. Он крепкий загон обойдёт, или подкоп сделает, или дожждётся, пока пастух уснёт.

И тут Бозкур, неожиданно для себя, заговорил.

— Дядя Сарбас говаривал, — сказал он негромко, и все обернулись, потому что молодой за стариковским столом говорит редко, а уж покойников поминает к месту. — Был у нас дядя — матери моей, Алтын, двоюродный брат, Сарбас. Воин был, каких мало. Меня в седло сажал. Он говорил: если волк повадился в отару, бесполезно ставить крепкий загон. Сколько ни городи — волк хитрее плетня. Надо идти к его логову. И вырезать волчат. Всех. Иначе он дожждётся, пока ты уснёшь, и придёт сам. К тебе. В твою постель.

Стало тихо.

— Мудрый был человек, — сказал Борибай, и в голосе его проступила тёплая гордость за свою кровь. — Сарбас. Помню его, кузена моего. Это ведь он под Саксином хорезмийский разъезд один на один держал, пока наши аулы уходили?

— Он, — сказал Караман. — Шурин он мне, Алтын моей брат двоюродный — они одного деда внуки, в одной юрте зимовали мальчишками, пока я её из вашего аула не увёз.

Караман помолчал, и мёртвый глаз его смотрел в огонь, а зрячий — на сына.

— Сарбас верно говорил. Про волка. Мужчина не ждёт, пока враг придёт к его постели. Мужчина идёт к логову.

Бозкур поймал взгляд Мурса через огонь. И в этом взгляде, в первый раз, было не оценивающее любопытство хозяйского сына к молодому гостю.

Было узнавание.

Пока мужчины говорили о волках и логовах, женская половина юрты жила своей жизнью — тёплой, негромкой, текучей.

И в этой жизни Айелин, приехавшая чужой полдня назад, уже была своей.

Бозкур видел это краем глаза, не переставая слушать стариков. Видел, как жена и невестки Борибая приняли её — сперва настороженно, как принимают всякую новую женщину, оглядывая искоса: кто такова, как держится, не спесива ли, не белоручка ли. И как настороженность эта растаяла за один вечер, потому что Айелин не умела входить чужой. Она бралась за работу раньше, чем её просили: подхватила пустую пиалу, подлила кому надо, перехватила у молодой невестки тяжёлый казанок — не напоказ, не выслуживаясь, а просто потому, что руки у неё, как у свекрови, не умели сидеть праздно при деле.

Карлыгаш раскапризничалась было — чужая юрта, чужие запахи, чужой гомон, — и завелась тем тонким младенческим плачем, который выматывает целую юрту. Айелин не засуетилась. Взяла дочь на руки, отвернулась к стене, к тёплому войлоку, и стала качать — мерно, всем телом, как качается на ходу всадник, — и забормотала ту самую колыбельную без слов, «элди, элди», у которой нет ни начала, ни конца, один ход. И Карлыгаш стихла. Уткнулась в мать, нашла что искала и затихла, и сушёная лапка филина на её груди перестала вздрагивать.

Потом Айелин, не выпуская задремавшую дочь, перегнулась через спящего Арлана — того сморило прямо за едой, как всегда, на полуслове, — и не глядя, привычным движением подоткнула сползшее с него корпе. Укрыла плечо, подмостила под щёку. Мальчишка причмокнул во сне и зарылся глубже в тепло.

А когда Мурас, наговорившись про банду, потянулся было сам за остывшим чаем, Айелин оказалась быстрее — поднесла ему свежую пиалу, горячую, и сказала тихо, одному ему, с тёплой усмешкой:

— Пей. Ты с дозора, по тебе видно. Глаза красные, как у того, кто три ночи не спал. Грейся.

Мурас принял пиалу, удивлённо глянул на молодую гостью — он и сам не заметил, как устал, а она заметила, — и что-то дрогнуло в его открытом лице.

— Спасибо, женеше, — сказал он. И слово «женеше», невестка-сестра, сказал так, будто она и впрямь была ему родней давно, а не полдня.

Бозкур смотрел на жену через дымную, тёплую юрту, поверх стариковских седи́н, поверх казана, и не слышал уже, о чём говорят отец и Борибай.

Он смотрел, как она движется в чужом тепле — и делает его своим. Как от неё, от её рук, от её негромкого голоса по юрте расходится что-то, чему он не знал имени, — то, отчего плачущий ребёнок стихает, усталый человек греется, а чужая юрта за один вечер становится не такой уж чужой. Суровые мужчины говорили о крови, о логовах, о вырезанных волчатах. А она в трёх шагах от них тихо латала мир — пиалой, колыбельной, подоткнутым одеялом, — и мир под её руками выходил теплее и чище, чем он был на самом деле.

Бозкур знал, каков мир на самом деле. Он повидал. А она будто не знала — или знала, да не верила, — и оттого рядом с ней мир становился лучше.

Не за красоту, подумал он, глядя на неё. Не за то, что лицо. За это вот. За то, что там, где она, — теплее.

Старший голос внутри сложил и это: жену в дверях чужого тепла, пиалу в её руках, слово «женеше». Сложил и затих.

Ночью, когда юрты уснули, Бозкур не спал.

Их положили в отдельной малой юрте, поднятой для приехавших, — своей пока не ставили, успеется. Снаружи выл жемский ветер, низовой, влажный, тянул с реки сыростью и стужей; войлок дышал и подрагивал, и тени уыков ходили по нему в свете жирника, как рёбра большого спящего зверя. Айелин дышала рядом ровно, спиной к нему, тёплой стеной. Дети спали. Карлыгаш — на самом краю слуха, по-птичьи. Арлан — щенячьим сапом.

Бозкур лежал на спине и смотрел вверх, на шанырак.

Не на свой — на чужой, борибаевский, незнакомый, светлее их кара шанырака, не успевший прокоптиться до черноты. Сквозь дымовое отверстие виднелся клочок ночного неба — чёрный, с дрожащими сквозь морозную муть звёздами. Тенгри смотрел оттуда вниз. И в вое ветра, в дрожании войлока, в дальнем всхрапе коней Бозкуру слышалось что-то, чего он не мог унять.

Они нашли тепло. Они приехали из снега, из страха, из степи, где за спиной лежал убитый Темир, — приехали к чужому богатому очагу, и очаг этот принял их, обогрел, накормил, дал кров и родню. Им резали мясо. Им поднимали юрту. Их называли «женеше» и «сынок».

А хозяев этого очага каждую ночь резали в камышах.

И вот это Бозкур не мог проглотить.

Нельзя сидеть у чужого огня, грея руки, и прятаться за чужие спины, пока тех, кто тебя пригрел, режут в плавнях. Нельзя есть хозяйское мясо и спать под хозяйским кровом, зная, что хозяин спит с саблей под головой и не высыпается третий месяц. За тепло надо платить. Тенгри не даёт даром — Тенгри даёт в долг, и приходит срок отдавать. Вот он, ветер с Жема, и воет ему про этот долг. Вот оно, чужое небо в чужом шаныраке, и требует платы.

Сарбас был прав. И отец был прав. Волка не уймёшь плетнём. Надо идти к логову.

И, лёжа в темноте, слушая ветер и ровное дыхание жены, Бозкур решил.

— Не спишь, — сказала Айелин.

Не спросила — сказала. Она всегда чуяла, когда он не спит, даже спиной, даже сквозь сон.

— Не сплю.

Она повернулась к нему. В скудном свете жирника он видел её лицо — близко, спокойное, с тенями в глазных впадинах.

— Думаешь про их банду, — сказала она. И опять не спросила.

Бозкур молчал. И в молчании она прочла всё, как читала всегда.

Она подняла руку и положила ладонь ему на щеку — жёсткую, обветренную, в трёхдневной щетине. Провела по ней пальцами, медленно, будто запоминая.

— Я знаю, что ты не можешь, — сказала она тихо. — Не можешь сидеть у чужого огня просто так, греться и молчать, пока хозяев режут. Не такой ты. Сердце у тебя шире этой юрты, Бозкур. Шире, чем тебе самому надо для покоя. Ты пойдёшь.

Он смотрел на неё и думал: вот сейчас. Сейчас она скажет — не ходи. Останься. Мы только нашли дом, только согрелись, только перестали бояться — не лезь в чужую войну, отлежись, переживи зиму, нам с детьми ты живой нужнее, чем чужим аулам отмщённый. Так сказала бы любая. Так сказала бы и его мать когда-то отцу.

Айелин не сказала этого.

— Возвращайся живым, — сказала она. — Вот и всё, о чём прошу. Мы только нашли дом. Не оставляй меня в нём одну.

И в голосе её не было страха за себя — была только эта простая, ясная, наивная вера: что он, конечно, вернётся. Что он не может не вернуться. Что человек с таким широким сердцем, её человек, не ляжет в камышах, как Темир, как те безвестные девки, — он сделает дело и придёт назад, к ней, к огню, к детям, потому что так правильно, а мир, в который она верила, был устроен правильно.

Она видела в нём героя. Сейчас, когда он сам в себе видел только тревогу, долг и тёмную тяжесть под рёбрами, она смотрела на него и видела того, кто пойдёт и спасёт, и вернётся, и всё будет хорошо. И от этого её взгляда — ясного, верящего — тёмная тяжесть в нём на миг отступала, и он сам почти верил, что всё так и будет.

— Вернусь, — сказал он.

— Знаю, — сказала Айелин.

И уснула — скоро, спокойно, прижавшись к нему, как засыпает человек, у которого на сердце нет сомнения. А Бозкур ещё долго смотрел в чужой шанырак, на клочок чёрного неба, и думал о том, что её «знаю» весит больше любой брони. И о том, что он сделает всё, чтобы это её «знаю» не оказалось обмануто.

Хотя бы в этот раз.

Утром они с Мурасом сели у наружного костра и стали чертить войну на золе.

Серый рассвет вставал над Жемом холодный и ясный. Костёр горел в яме, дым шёл прямой. Мурас разровнял ладонью остывшую золу с краю кострища и взял обугленный прутик — и Бозкур, глядя на это, на миг увидел вместо Мураса другого: Темира с ножом, чертящего по сухой глине у Трёх карагачей. Обрубок безымянного пальца на черне. «Один ушёл — и всё дело коню под хвост». Бозкур моргнул, и Темир пропал, и был только Мурас с прутиком.

— Камыши вот, — чертил Мурас. — Жем тут петлю даёт, в петле — плавни. Тут они и сидят, на сухих гривах посреди трясины. Места знают, мы — нет.

— Сколько их?

— Считали по-разному. Десятка полтора. Может, до двадцати — в камышах не пересчитаешь.

— Кони?

— Есть. Степные, как наши. Только ихние по гривам ходят, где твёрдо, а наши вязнут.

Бозкур долго смотрел на чертёж. Потом взял у Мураса прутик.

— В плавни за ними не пойдём.

— Это я и без тебя знаю, — хмыкнул Мурас. — В плавни не пойдём, из-за плетня не вылезем — так и будем до старости с саблём под головой спать. Ты дело скажи.

— Дело — выманить их. И встретить на сухом.

— Выманить? — Мурас фыркнул. — Они тебе не сазаны, брат. Чем ты их из трясины выманишь? Куртом помашешь?

— Они сами выходят. Грабить.

— Выходят! А куда выйдут — поди угадай. Степь широкая: сегодня здесь, через десять ночей — за двадцать вёрст. Что ж нам, у каждого аула всем войском до лета сидеть?

Бозкур не стал отвечать. Он спросил:

— Куда они ходили последние три раза?

Мурас наморщил лоб. Ткнул пальцем в золу:

— К нижним юртам. Потом к Сапарбаевым. Потом вон туда, к дальним колодцам.

— А до того?

— До того... — Палец пошёл по золе, оставляя ямки. — Опять нижние. Урочище. Сапарбаевы...

Палец остановился. Мурас смотрел на собственные отметины, и открытое лицо его медленно менялось.

— Погоди, — сказал он. — Они же кругом ходят. По одним и тем же. Петлём.

— Петлём, — кивнул Бозкур. — У волка есть тропа. Он не мечется по степи — он ходит, где знает: где подходы разведаны, где собаки ленивые, где брал и ещё возьмёт. Разбойник — тот же волк, только хуже. Теперь сам смотри: где они давно не были и где караул жидкий?

Мурас смотрел в золу. Поднял глаза:

— У крайних. У тех, что к плавням ближе всех. Там после первого грабежа мужики половину отар к родне отогнали — и сторожить стали вполсилы, нечего сторожить... — Он осёкся. — Туда и придут. Следующим разом — туда.

— Туда. А мы поможем им решиться. Снимем караул вовсе. Пустим слух, что мужики ушли к дальним зимовкам, в ауле бабы да старики. Пусть видят: бери — не хочу.

— Почуют, — Мурас мотнул головой. — Не дурные же. Снятый караул — он как капкан на тропе, за версту видать.

— Капкан чует сытый и осторожный, — сказал Бозкур. — А эти полгода берут без отпора. Кто полгода берёт без боя, тот разучивается ждать беды. Жадность съедает осторожность. — Он услышал, чьими словами говорит, и не остановился. — Я такое уже видел. С теми, кто был зубастее этих.

— Ладно. Пришли. Ударили мы. — Мурас подался вперёд; теперь он спорил не из упрямства — из дела, и это был уже другой спор. — А они сыпанут назад, в плавни! По своим гривам! Пятерых у юрт положим, дюжина уйдёт в камыш — и через месяц всё по новой, только злее. Сам говоришь — волк. Волка мало шугануть.

— Поэтому бить будем не у юрт. — Прутик Бозкура пополз по золе от аула назад, к плавням. — Какой у них ход домой? Этот?

— Этот. Сухой гривой, через балку у старой старицы. Другого зимой нет: кругом наледь да трясина под снегом.

— Один ход. Балка. С одним горлом. — Прутик упёрся. — Тут и встретим. Пропустим их к аулу — и сядем на обратную тропу. Пойдут домой с добычей — сытые, гружёные, ленивые. А горло заткнуто. Камыш по бортам подожжём: огонь гонит, дым слепит, кони от пламени дуреют. Спереди огонь, сзади мы. Закупорим, как бурдюк.

Мурас долго молчал, глядя на чертёж: аул, грива, балка, две черты поперёк горла. Потом поднял взгляд на Бозкура — длинный, новый взгляд.

— Ты это сейчас придумал? Или знал?

— Меня учили.

— Кто учил-то? Молодой ты для такого.

— Один человек, — сказал Бозкур. — Хороший был. Осторожный. Всё рассчитывал.

— И где он?

Бозкур посмотрел на серую золу.

— Лежит у дороги. С кинжалом в сердце. Один раз не рассчитал.

Мурас помолчал, понял, что лезть дальше не надо, и не полез.

Совет собрали в тот же день, в большой юрте, и план приняли скоро.

Борибай выслушал, кивая грузной головой, и сказал:

— Дело. Давно надо было так, да некому было голову приложить. Мы тут плетень городили, а волка резать боялись.

— Мужчина не ждёт, пока враг придёт к его постели, — повторил Караман то, что сказал накануне. — Идите к логову. Я стар, я с вами не поеду — толку от меня в седле на полдня, не больше. Но сын мой поедет. И моё слово при нём. — Он посмотрел на Бозкура. — Веди с умом. Молодых береги. Геройство — это когда все вернулись. Кто вернулся один, оставив прочих в камышах, тот не герой, тот вдовам ответчик.

Бозкур склонил голову.

Объезжать соседние аулы поехали вдвоём с Мурасом. Три аула — те самые, с краю, ближе к плавням, — и в каждом беду знали, в каждом недосчитывались либо коней, либо людей, либо сна. План приняли быстро, без долгих уговоров: измученный бессонными караулами человек хватается за всякого, кто предложит покончить разом.

К вечеру следующего дня отряд собрался. Семнадцать всадников — считая самого Бозкура и Мурса.

Бозкур оглядел остальных пятнадцать — и сердце у него опустилось.

Пятеро были настоящие. Бывалые, в годах, со шрамами, помнящие ещё походы на хорезмийцев, на саксинские заставы, на бог весть какие давние свары. Эти сидели в седле спокойно, оружие держали как привычную вещь, говорили мало. На таких можно опереться. Один, седоусый, по имени Конырбай, оказался даже знаком отцу — не лично, по имени, по тем же старым войнам; Караман, узнав, кивнул: с этим не пропадёшь, этот битый.

Себя и Мурса Бозкур в уме поставил посередке: уже не мальчишки, кровь оба видели — да рядом с Конырбаем оба щенки и есть. В девятнадцать лет всякий считает себя бывалым. Бывалые на это только усмеваются: они-то помнят, как сами считали.

А остальные десять были — мальчишки.

Ровесники Аяна или чуть старше. Безусые или с первым пухом на губе. Глаза у них горели, и горели не злостью, не холодом, а восторгом — тем самым восторгом, с каким семнадцатилетний идёт на первую войну, не зная ещё, что война это не песня, а грязь, вонь и хруст. Они гарцевали, перекликались, хвалились новыми саблями — у иного сабля была отцовская, дедова, а сам он держал её до сего дня только на торжище да на свадебной игре. Они рвались в бой, как рвутся щенки из подворотни — на волка, не понимая, что такое волк.

Бозкур смотрел на них и видел не отряд. Видел мясо. Тёплое, живое, восторженное мясо, которое через два дня придётся беречь ценой собственной шкуры, а сберечь удастся не всё.

Он вспомнил Аяна — такого же, тонкошею, длиннорукого, с горящими глазами, у Трёх карагачей. И как Аян чуть не лёг под верблюжьей тушей — нет, под саблей грузного латника, с грязью, втёртой в чужие глаза. И как выблевал нутро над мертвецом. И выжил — чудом, везением, которое не повторяется дважды.

Этим десяти столько везения Тенгри не отсыплет. Бозкур знал это так же твёрдо, как знал восход.

— Слушайте, — сказал он им вечером, перед выходом, и голос его был не как у девятнадцатилетнего. — Тот, кто думает, что завтра песня, — пусть уходит сейчас. Не стыдно. Стыдно — лечь дураком и других за собой потянуть. Завтра будет грязь, кровь и страх. Вас будет тошнить. Вы обмочитесь — все мочатся в первый раз, кто скажет, что нет, тот врёт. — Он обвёл их взглядом, и горящие глаза один за другим гасли, упирались в землю. — Делайте, что велю. Не лезьте вперёд. Не геройствуйте. Держите строй, держитесь старших. Кто меня послушает — у того есть надежда вернуться к матери. Кто полезет геройствовать — того я закопаю своими руками. Поняли?

Они кивали — притихшие, уже не гарцуя. Но Бозкур видел: до конца не поняли. Это нельзя понять словами. Это понимают только потом, в камышах, когда первый из них захлебнётся кровью. И поздно будет.

Вышли в ночь, чтобы к рассвету залечь.

Расчёт Бозкура и Мураса оправдался: банда взяла приманку. В крайнем ауле, том, где нарочно сняли караул и пустили слух, что мужики ушли на дальние пастбища, разбойники объявились на третью ночь — пришли из плавней по сухой гриве, как и думали, петлёй, на лёгкую добычу. Дозорные, посаженные тайно, дали знать. И на сером ледяном рассвете отряд Бозкура зажал их в тупиковой балке у замёрзшего русла старицы — единственном ходе обратно в плавни.

Балка была глухая, с одним выходом, заросшая сухим, ломким зимним камышом в рост всадника. Снег на дне лежал нетронутый, синий в предрассветном сумраке. Лёд на старице стоял чёрный, бесснежный, выметенный ветром.

Камыш подожгли с краёв — сухой, он занялся жадно, с треском, с гулом, и повалил густой белый дым, и в этом дыму, в трескучем огне, разбойничьи кони заматались, чуя пламя, а сами разбойники, поднятые с лёжки, выскакивали из дыма ошалелые, полуодетые, кто верхом, кто пеший, — прямо на стену всадников, перегородивших выход.

И началась резня.

Поначалу всё шло, как задумано. Конырбай с бывальыми держали выход намертво, рубили выскакивающих из дыма, не пуская в плавни. Лучники — Мурас и двое — били по тем, кто ещё в седле. Бозкур работал в гуще, рубя справа и слева, и булат отца ходил в его руке легко, привычно уже, страшно. Разбойники, застигнутые врасплох, зажатые между огнём и сталью, в дыму, в панике, гибли быстро. Их было меньше, чем боялись, — голов двенадцать, не двадцать, — и они были застигнуты, а застигнутый враг это уже половина мёртвого.

А потом один из молодых ошибся.

Бозкур увидел это краем глаза. Мальчишка — совсем юный, лет шестнадцати, в большом не по голове отцовском малахае — слишком увлёкся, вырвался вперёд, погнался за пешим разбойником в дым, и конь его, наскочив на тлеющую кочку, шарахнулся, оступился, рухнул на колени. Мальчишку выбросило из седла. Он упал в снег, неловко, выронив саблю, — и не успел встать, как на него навалились двое. Один прижал, другой занёс нож.

Совсем как тогда. Совсем как Аян под грузным латником.

И в голове у Бозкура лопнула струна.

Он не успел подумать «спаси». Он не успел подумать вообще ничего. Просто перед глазами, поверх упавшего мальчишки, поверх дыма и снега, встало — белой вспышкой — лицо Темира. Мёртвого. С хорезмийским кинжалом в сердце, который не вынули, оставили торчать, как печать. Лежащего у дороги. Одного.

И накатило.

Не горячая ярость — ледяная. Не кровь к голове — наоборот, отлив, и в этом отливе мир сузился, потемнел по краям, и остался только узкий красный коридор, в конце которого были живые враги, которых надо сделать мёртвыми.

Дальше Бозкур не помнил ничего.

Помнил Мурас. И помнили те, кто выжил. И рассказывали потом — сперва шёпотом, потом громче, а после уже как сказку, как небыль, в которую сами не до конца верили, хоть видели своими глазами.

Что молодой гость, сын Карамана, вдруг перестал быть похож на человека.

Что он бросил коня прямо в гущу — туда, где двое добивали упавшего мальчишку, — и первого срубил так, что никто и не понял, как: только что был человек с ножом, и вот уже нет головы, а тело ещё стоит. Второго он достал на замахе и развалил — рассказывали — от темени до плеч, надвое, как разваливают тушу на колоде, и булат прошёл сквозь кость, сквозь шлем,

сквозь всё, будто там не кость была, а курдюк. И кровь ударила — толчком, фонтаном, как из перерезанной шеи барана, — Бозкуру в лицо, залила всего, и он не отёрся, не моргнул даже.

Что дальше он пошёл по балке, по дыму, и убивал всех, кого находил. Не рубил в схватке — находил и убивал. Разбойники, бросавшие оружие, тянувшие руки, кричавшие «сдаюсь», падавшие на колени, — он не слышал их, не видел сдачи, для него не было сдачи. Он валил и резал, валил и резал, и двигался сквозь дым неостановимо, как сама смерть, у которой не выпросишь пощады, потому что у смерти нет ушей.

Что под конец, когда убивать стало некого, он стоял посреди балки, над уже мёртвым телом, с занесённым булатом, и не опускал его — выискивал ещё. И был он весь багровый. С головы до пояса — сплошная красная корка чужой крови, уже подсыхающей, бурой по краям. Лица не было — была красная маска. И только глаза горели на этой маске — белые, остекленевшие, бешено вращающиеся, ищущие живых. И когда на эти белки наплывала сверху свежая тёплая кровь, стекая со лба, — он не моргал. Не смаргивал. Стоял и дышал — тяжело, со свистом, с хрипом, как загнанный зверь, — и водил по сторонам белыми ищущими глазами над красной коркой, где было раньше человеческое лицо.

И бывалые волки — Конырбай, выдавший саксинские заставы, и прочие, кто помнил настоящие войны, — медленно опускали оружие. И пятились. Пятились от своего, от того, с кем вместе пришли, потому что то, что стояло посреди балки в красной корке с белыми глазами, было уже не свой и не человек. Это было нечто, выпущенное наружу. И его сторонились, как сторонятся не врага, а чего-то, чему нет названия и от чего стынет нутро.

А Мурас — Мурас смотрел на двоюродного брата, которого полдня назад угощал чаем у отца огня, которого жена этого брата назвала добрым, чьё сердце — он сам слышал — звали широким. И не узнавал. И в груди у него стоял тихий, липкий ужас, потому что он увидел не героя, который спас мальчишку. Он увидел мясника. Чудовище. Демона, который жил, оказывается, под этим спокойным скуластым лицом и теперь вырвался и встал среди трупов, дыша со свистом и ища, кого ещё.

— Бозкур, — позвал Мурас. Голос у него сел. — Бозкур. Кончено. Всё. Кончено.

Бозкур не слышал.

— Бозкур!

Имя — повторённое, своё, родное имя — пробилось наконец сквозь красный коридор, как пробился когда-то крик Аяна сквозь черноту у Холодного ключа.

И мир вернулся.

Бозкур вздрогнул всем телом. Опустил булат. Огляделся — и увидел: дым, оседающий над выгоревшим камышом; снег, истоптанный, бурый, в красных кляксах; тела — много тел, разбросанных, изрубленных страшнее, чем рубят в честном бою; своих, стоящих поодаль кругом и глядящих на него с одним и тем же выражением, которому он не сразу нашёл имя.

Это был страх.

Они боялись его.

Бозкур поднял руку — отереть лицо — и рука пришла красная, и лицо было красное, корка лопнула под пальцами, и он понял, что залит весь, с ног до головы, чужим. Он не помнил, как. Он помнил мальчишку под двумя разбойниками, помнил белую вспышку, лицо мёртвого Темира — а дальше чёрный провал, и вот он стоит посреди бойни, которую устроил сам и которой не помнит.

Мальчишка в большом малахае был жив. Сидел в снегу, там же, где упал, и смотрел на Бозкура снизу вверх — спасителя своего — и в глазах у него был тот же ужас, что у всех. Бозкур спас ему жизнь. И мальчишка боялся спасителя больше, чем тех, кто его убивал.

Глаза, подумал Бозкур тупо. Сколько их будет сегодня ночью.

Он не знал ни одного лица из тех, что лежали в балке. Он не видел, как убивал. И снова — как у Холодного ключа, не как в Жёлтом овраге, — после него осталась пустота вместо памяти. Только на этот раз пустота была залита чужой кровью по самые глаза.

Цена выяснилась, когда сосчитали живых.

Из семнадцати на ногах осталось девять.

Шестеро лежали в камышах. Их вынесли — всех, до одного, в степи своих не бросают, — завернули в попоны, в потники, в то, что было, и приторочили поперёк сёдел. Шесть тел. Пятеро из них — те самые мальчишки с горящими глазами, что три дня назад хвалились саблями. Глаза у них больше не горели. И один из бывалых, не Конырбай — другой, немолодой уже, с тремя детьми, как узнал Бозкур после, — лёг тоже: принял копьё, прикрывая зарвавшегося юнца. Юнец выжил. Отец троих — нет. Степь брала свой счёт не глядя на заслуги.

Двое тяжёлых едва держались в сёдлах. Одному распахали плечо — рука висела, держась на лоскутах, и кровь промочила все тряпки, которыми затыкали рану. Другому пробили бок; этот молчал, серый лицом, и молчание его было нехорошее. Их везли в середине, поддерживая с боков, — Мурас одного, Бозкур другого, отмытый кое-как снегом от верхней крови, но всё ещё страшный, в бурых разводах, и тяжёлый раненый, которого он вёз, в полубреду шарахался от него и стонал.

Ехали медленно. Молча. Без песен, без похвальбы. Девять живых, шесть мёртвых поперёк сёдел, двое почти мёртвых на руках. Так возвращаются с войны на самом деле — не как в сказаниях.

Над балкой, оставшейся позади, уже кружили первые чёрные точки. Небо вело свой счёт. Оно его всегда вело.

В ауле их встретили без радости.

Радости и не могло быть — потому что прежде всякой вести аул увидел поперёк сёдел шесть свёртков в пополах, и этого было довольно. По аулу пошёл женский крик — тот высокий, рвущий душу вой жоктау, плача по мёртвым, который не спутаешь ни с чем и который, раз услышав, не забудешь. Матери, жёны, сёстры выбегали навстречу, считали живых, искали своих среди везомых — и которая находила своего на ногах, та падала на колени и благодарила Тенгри; а которая находила поперёк седла — та начинала кричать, и крик подхватывали, и над аулом встал общий плач.

Победа была полная. Банду вырезали под корень, ни один не ушёл в плавни — Бозкур, сам того не помня, об этом позаботился лучше всех. Степь у Жема стала чистой. Логово выжгли, волчат вырезали, как завещал покойный Сарбас.

Но платой за чистую степь были шесть свёртков в пополах. И никакая победа не перебивала жоктау.

И вот тут, среди плача, среди суеты, среди мужчин, которые стояли потерянно, не зная, что делать с горем, — вышла вперёд Айелин.

Она не плакала. Не потому, что не умела, — а потому, что увидела сразу, кому плач не поможет, а помогут руки. Двое тяжёлых ещё дышали. Пока другие женщины голосили над мёртвыми, Айелин пошла к живым.

Бозкур видел, как она это делает, и сердце у него заходило чем-то, чему он опять не знал имени.

Она велела внести раненых в тепло — быстро, коротко, и её послушались, мужчины послушались молодую женщину, потому что в голосе её была та спокойная уверенность, которой слушаются в беде. Она кликнула чистых холстов — и ей принесли. Велела согреть кобылье молоко и воды — согрели. Достала из своего сундучка травы, которые везла через всю степь, — сушёный тысячелистник, кору, ещё что-то, чего Бозкур не знал, — растёрла, размочила. И принялась за работу.

Она не боялась крови. Вот что поразило всех — и поражало Бозкура каждый раз, сколько бы он ни видел: маленькая, тихая, светлая Айелин, от которой плачущий ребёнок затихает, — она не отворачивалась от развороченного плеча, от торчащей кости, от чёрной запёкшейся раны в боку. Руки её, те самые руки, что качали Карлыгаш и подтыкали одеяло Арлану, — эти руки сейчас твёрдо, без дрожи, промывали рану кобыльим молоком, выбирали из неё грязь и обрывки, стягивали края. Тому, у кого висело плечо, она зашила разорванное мясо — иглой и навощённой нитью, той же, какой шила ворот, мелким частым стежком, — и руки её при этом были уверенные и нежные одновременно, и раненый, метавшийся и стонавший, под этими руками затихал, будто и ему передавалось то тепло, что она расточала всюду.

— Терпи, родной, — говорила она пробитому в бок, серому, уходящему. — Терпи. Я тебя не отдам. Слышишь? Не отдам.

И столько в этом было веры — простой, ясной, наивной веры, что вот не отдаст, не может не удержать, потому что нельзя же, чтобы человек умер у неё на руках, когда она так старается, — что Бозкур почти поверил вместе с ней, будто её одной воли довольно, чтобы вытащить уходящего с той стороны.

Серого она к утру вытащит. Плечистого — тоже. Обоих. Тех, кого степь уже почти забрала, маленькая Айелин с её травами, кобыльим молоком и упрямой верой отнимет назад. Не всех на свете она могла спасти. Этих двоих — спасла.

Кровь Бозкур смывал у корыта, в стороне от всех.

Корыто было долблёное, для скота, и вода в нём подёрнулась к утру ледяной коркой; он проломил её кулаком и стал смывать с себя чужое — ледяной водой, на морозе, обдирая кожу, потому что засохшая кровь не сходит легко, её надо тереть, сдирать, отмачивать. Вода в корыте розовела, потом краснела. Он смывал с лица, с шеи, с рук по локоть, выгребал из-под ногтей. Бурая корка отходила лоскутами, обнажая собственную кожу, и Бозкур тёр и тёр, словно мог стереть не только кровь, но и провал в памяти, и белую вспышку, и то, чем он был час назад в той балке.

Не отгёрлось. Кровь сошла. Остальное — нет.

Он не слышал, как подошла Айелин.

Она встала рядом — тихо, как всегда, — и протянула чистый холст. Бозкур взял, отёр лицо. И поднял на неё глаза.

И она посмотрела ему в глаза.

В те самые глаза — белые от ледяной воды, обведённые красным, с которых он только что стёр чужую кровь. Посмотрела долго, близко, как смотрят, когда хотят увидеть не лицо, а то, что за лицом.

Бозкур ждал, что она отшатнётся. Мурас отшатнулся. Конырбай пятился. Мальчишка, которого он спас, глядел с ужасом. Все, кто видел его в балке, теперь обходили его сторонкой, и в глазах у них стояло одно. Он ждал того же и от неё — и это было бы хуже всего, потому что её взгляд он носил под воротом, как нить из трёх волос, и если отшатнётся она — значит, в нём и впрямь поселилось то, от чего бегут.

Айелин не отшатнулась.

Но и прежнего взгляда в её глазах уже не было. Не было той ясной, лёгкой, безоговорочной веры, с какой она провожала его вчера, — веры в героя, который пойдёт, спасёт и вернётся. Что-то в этой вере надломилось — или, может, не надломилось, а повзрослело, потяжелело, как тяжелеет металл, который перековали. Она смотрела на него — и любила, он видел, что любила, любила всем своим тёплым, светлым существом, по-прежнему, может, даже сильнее. Но сквозь любовь — впервые — проступало другое. Тонкое. Холодное. Похожее на страх, но не страх. Похожее на то, как смотрят на грозовую тучу — с любовью к её мощи и с тихим знанием, что эта мощь не разбирает, кого жжёт.

Она увидела, кем он становится. Раньше его самого увидела. И не отвернулась — но и не солгала себе, что не видит.

— Отмылся? — спросила она тихо.

— Отмылся.

Она протянула руку и тронула его щеку — как ночью, как всегда. Жёсткую, мокрую, холодную щеку. И ничего не сказала больше. Но в этом касании было всё: и любовь, что не уйдёт, и страх, что пришёл навсегда, и принятие — горькое, ясное, женское принятие того, что мужчина, которого она выбрала, оказался не только тем тёплым, что грел ей огонь, но и тем, что встаёт в балке над трупами с белыми глазами. И что теперь ей жить с обоими. И любить обоих. Потому что они один человек, и человек этот — её.

«Тебя ведёт сам Тенгри», — сказала она когда-то на холме. Тогда это звучало почти молитвой. Теперь Бозкур, глядя в её изменившиеся глаза, понял, что она тогда сказала, и испугался — не за себя.

Тех, кого ведут, не спрашивают, куда.

Дастархан собрали к вечеру — поминальный и победный разом, как это всегда и бывает в степи, где радость и горе садятся за один стол и едят из одной миски.

Резали скот — много, не считая: Борибай не поскупился, выставил лучшее, потому что чужой род спас его землю и его людей, и долг этот был такой, что не оплатишь, — только обозначишь. Варили мясо, разливали кумыс, ставили на дастархан всё, что было в богатых юртах Жема. Поминали мёртвых — называли каждого по имени, и за каждого пили, не чокаясь, и старшие говорили о павших те простые тяжёлые слова, какие говорят над теми, кто лёг молодым. Шесть имён. За каждым — мать или вдова, и плач ещё стоял по аулу, тише уже, надорванный, но стоял.

И тут же, за тем же столом, чествовали живых. И первым — Бозкура.

Борибай поднял чашу и сказал, что род его в долгу перед Карамановыми по гроб, что молодой гость, сын сестры, сделал то, чего они сами три месяца не могли, что степь у Жема снова чиста, и что имя Бозкура отныне в этом ауле будут поминать с честью, пока стоят юрты. Старики кивали. Караман сидел прямо, и в мёртвом и в зрячем глазу его было одно — тяжёлая отцовская гордость, не выставленная напоказ.

Бозкур принимал хвалу молча, опустив голову. Хвала не грела. Он всё видел перед собой шесть свёртков в пополах и мальчишку, глядящего на спасителя с ужасом.

А потом заговорил Мурас.

Он выпил уже, осмелел, и горечь в нём мешалась с тем восторженным ужасом, который не давал ему покоя с самой балки. В паузу между здравицами он вдруг поставил пиалу — стукнул ею о дастархан громче, чем хотел, — и сказал:

— Я расскажу. Про балку. Вы там не были. А вы должны знать, кто вам степь очистил. И... каков он, когда чистит.

— Пей да закусывай, — проворчал кто-то из стариков. — Чего рассказывать. Побили и побили, слава Тенгри.

— Нет, — сказал Мурас. И что-то в его голосе было такое, что за столом начали умолкать. — Не «побили и побили».

Он стал рассказывать. Сперва ровно: как горел камыш, как пошли разбойники из дыма на сталь, как всё шло, как задумали. Потом дошёл до мальчишки — как тот упал, как двое навалились добивать, — и тут речь его начала спотыкаться.

— И тогда Бозкур... — Мурас запнулся. Поискал слово. Не нашёл. — Переменился.

— Как — переменился? — спросили из темноты.

— А вот как небо перед бураном. Было небо — и нет неба. — Мурас сплотнул. — Я рядом был. В десяти шагах. Я смотрел на него — и не видел замаха. Понимаете? Сабли не

видел. Вот стоит человек с ножом над мальчишкой — а вот уже нет у человека головы. А тело стоит. Стоит, нож держит. Ещё не знает, что мёртвое.

Кто-то из молодых хохотнул — нервно, с недоверием. Конырбай, сидевший среди старших, поднял ладонь, и смешок умер.

— Не скаль зубы, — сказал старый воин. — Так и было. Я видел.

— А второго он... — Мурас провёл ребром ладони от темени вниз, до ключицы, и рука у него дрогнула. — Надвое. Сквозь шлем. До плеч. Я слышал звук. Как... как топором по мёрзлomu бревну. Только это был не топор. Это была сабля. Одной рукой. С седла.

В юрте стало очень тихо. Только огонь ел кизяк да где-то снаружи, далеко, доплакивала своё вдова.

— Дальше он пошёл по балке, — говорил Мурас, и голос его сел до хрипа. — И резал. Они уже бросали железо. Руки тянули. Кричали — сдаёмся, мол. А он не слышал. Не видел поднятых рук. Для него сдачи не было. Понимаете... у смерти ушей нет. Вот и у него не было. — Он перевёл дух. — А когда кончилось... когда резать стало некого... он стоял. Посреди всех. И был он весь... — Мурас показал ладонью от лба до пояса, — весь. Красный. Лица нет. Корка одна. И только глаза на этой корке. Белые. И крутятся. Ищут. Живых ищут. И кровь ему на белки течёт — чужая, тёплая, со лба, — а он...

Мурас замолчал. Договорил шёпотом, и весь дастархан слушал этот шёпот:

— ...а он не моргает. Не моргает, понимаете. Я звал его. По имени. Три раза звал, пока он услышал.

Айелин в это время разливала кумыс.

Она шла вдоль дастархана с большой деревянной чашей-ожау, наклоняясь к каждому, наполняя пиалы, — тихая, домашняя, своя уже в этом ауле, как была своей всюду. И на слове «не моргает» — Айелин застыла.

Замерла посреди движения, с наклонённым ожау, не долив. Рука её остановилась. И она подняла глаза — через весь дастархан, через головы, через дым и огонь — и посмотрела на Бозкура. Долго. Одним тем взглядом, в котором теперь навсегда поселились двое: тот, кого она любит, и тот, кого она боится, — и оба были он.

И Бозкур, сидевший на почётном месте, опустивший голову под чужой хвалой, — Бозкур поднял глаза в тот же самый миг. Будто почуял спиной, кожей, нитью под воротом. И поймал её взгляд — сразу, точно, через всю юрту, как ловят то, что искали.

Они смотрели друг на друга поверх всего — поверх поминок и победы, поверх плача и хвалы, поверх Мурасова шёпота про белые глаза. И в этом коротком, длиной в один вдох, скрещении взглядов было сказано больше, чем за всю их жизнь словами. Она знала теперь, кто он. Он знал, что она знает. И оба знали, что это ничего не меняет.

Тех, кого ведут, не спрашивают, куда. Но рядом с ними кто-то может идти. И она шла.

— Сорок лет я в седле, — сказал Конырбай в наступившую тишину, глядя в свою пиалу. — Саксин видел. Хорезмийцев видел. Под Джендом стоял. А такое — раз. И я, старый, пятился. От своего — пятился, как от чужого. — Он поднял глаза и обвёл стол. — Вот вам и весь мой сказ. А теперь пусть старшие скажут, что это было. Я не знаю слова.

Слово знал Борибай.

Хозяин долго молчал. Потом отставил пиалу — бережно, обеими руками, как отставляют, когда пальцы могут дрогнуть, — и сказал:

— Я видел такое. Один раз. Сорок лет назад.

И рассказал — медленно, веско, как кладут камни в основание.

— Мне было семнадцать, — продолжил Борибай, и голос его шёл словно из глубины земли. — Мы стояли на Яике, и на нас навалились огузы — последние, лютые, которым уже нечего было терять. Наше крыло смяли. Бежать было некуда — за спиной обрыв и река. И был среди нас человек из рода Токсоба. Кара-Бука его звали. Чёрный Бык. — Борибай говорил,

глядя в огонь, и сорок лет сходили с его лица. — Когда срубили его брата — Кара-Бука ушёл из себя. Вот так же, как твой, Караман. Три стрелы в нём сидели — он их не чуял. Он прорубил в огузах улицу. Улицу, говорю, как в городе прорубают, — и по этой улице мы вышли. Все. Живые. А он стоял позади, красный, как освежёванный, и искал белыми глазами, кого ещё.

Старики за столом согласно закачали головами. Конырбай, старый волк, глухо обронил: — Род Токсоба всегда славился такими. Их кровь — как кипящая смола. Если загорится — не потушишь, пока всё вокруг не выгорит.

— И что старики сказали? — тихо спросил кто-то.

— Старики сказали: аруахи. — Борибай поднял палец. — В него вошли аруахи. Деды его. Все разом — сколько их было от первой сабли рода. Когда деды входят в одного, он на тот час не человек. Он — весь род разом, от начала времён. Потому и сила нелюдская, и памяти нет: не он же рубил — деды рубили его рукой. — Борибай помолчал. — Кара-Буку потом знала вся степь, от Яика до Дона. Огузы его именем детей пугали тридцать лет. Дожил до белой бороды, умер в юрте, на кошме, как все мы хотим. — Он повертел пиалу. — Только, говорят, перед смертью всё просил развязать ему руки. А руки у него были свободны.

По дастархану прошёл холодок. Молодые переглядывались. Старики — нет: старики кивали, медленно, как кивают тому, что подтверждает давно слышанное.

— У нас об этом тоже знали, — сказал Караман.

Он сказал это негромко, но его услышали все, потому что отец героя имеет первое право на слово о сыне — и все ждали, что он скажет.

— Я воевал с хорезмийцами смолоду, вы знаете. Так вот: хорезмийцы таких — боялись. Пуще джиннов своих боялись. За голову такого платили втрое и резать его посылали вдесятером, и то не всякий шёл. У них для наших было слово — не выговорю, язык не тот, — а значило оно: тот, в кого бьёт небо. — Караман повёл зрячим глазом по столу и остановил его на Борибае. — А мой отец, старый Турсун, говорил иначе, чем твои старики, брат. Не аруахи, говорил. Бери выше.

— Куда уж выше дедов, — сказал Борибай.

— Есть куда. — Караман сказал это просто, буднично, как называют масть коня, и оттого слово упало тяжелее камня. — Раз в поколение, говорил отец, Тенгри метит одного. Не спрашивая. Не за заслуги — по своей воле: положит руку на темя — и ведёт. И пока ведёт, человек делает то, чего человеку не дано. Небо закрывает воину человеческие глаза, чтобы он не видел страха, не думал о ранах и не жалел врагов. Таких отец звал — Тенгридин уулу. — Он помолчал. — Сын Тенгри.

— Сын Тенгри, — повторил Борибай. Попробовал слово на вес, как пробуют монету на зуб. И кивнул. — Да. Так и говорили. Так и про Кара-Буку говорили.

Он выпрямился, обвёл дастархан взглядом хозяина, и голос его налился силой:

— И вот что я вам скажу, дети. За таких нас и знает мир. Думаете, почему от Царьграда до Хорезма за кыпчакскую саблю платят серебром? Почему греческие цари берут наших в своё войско и ставят над своими? Почему грузинский царь зовёт степь к себе в горы и сажает кыпчаков по правую руку? — Он ткнул толстым пальцем вверх, в шанырак, в небо за ним. — Не потому, что нас много. Много всяких. А потому, что раз в поколение степь рождает — такого. Лучшие конные лучники под этим небом — так о нас поют от моря до моря, и поют не зря. Поют про таких, как Кара-Бука. — Палец опустил и указал через огонь. — Как этот.

Все посмотрели на Бозкура.

И страх, который сидел в людях с самой балки, — страх не ушёл. Но он получил имя и место. А названный страх в степи зовётся почтением: молодёжь смотрела теперь на Бозкура так, как смотрят на грозу — отступив на шаг и не отводя глаз; старики — как смотрят на дорогое оружие в чужих руках, прикидывая, чьи руки.

Борибай тяжело вздохнул, взял пиалу и поднял её над столом: — Сын Токсоба тогда, сорок лет назад, спас наш род, но в ауле жить не смог. Ему стало тесно среди мирных юрт. Такие волки не пасут овец, они водят стаи. Вот и твой сын, Караман, отдал долг нашему теплу. Великие ханы на западе, за Итилем, скоро услышат его имя – Бозкур сын Карамана, Тенгридин уулу.

Бозкур сидел, опустив голову, и слово лежало на нём, как лёг бы на плечи чужой тяжёлый доспех.

Сын Тенгри.

Старики дошли до этого через сорок лет, через Кара-Буку, через хорезмийские страхи и отцовские притчи. Им понадобилась балка, полная изрубленных тел, чтобы увидеть и назвать.

А она сказала это первой.

На холме. Осенью. Шёпотом — не ему и не себе, а вверх, туда, куда уходят все степные шёпоты. Наивная женщина, которая верит, что сытый добреет и что добро всегда возвращается, — она посмотрела тогда на его ободранные тетивой пальцы и сказала то самое, до чего вся старикинская мудрость степи доходила сорок лет: тебя ведёт сам Тенгри.

Ей не нужна была балка. Ей хватило его ладони.

Бозкур поднял голову и нашёл её глазами — она стояла у казана, в отсветах огня, с ожау в руках, и смотрела на него. Уже не застыв — спокойно. И во взгляде её он прочёл без слов: «Я говорила». Не торжество — печаль. Потому что она первой сказала и первой поняла то, что старики обходили в своих рассказах стороной: тех, кого ведут, не спрашивают, куда.

Айелин отвела глаза. Доклонила ожау, долила кому-то пиалу. И пошла дальше вдоль достархана — тихая, светлая, своя, — будто и не было ничего. Только Бозкур видел, и только Бозкур знал, чего ей стоила эта снова ровная рука.

Зима пошла на убыль.

Прошло ещё немного — недели две, может, три. Солнце, что весь декабрь и январь висело над степью бледным холодным кружком, вдруг налилось силой, стало греть всерьёз, к полудню уже по-весеннему. Дни удлинились. Сюга потянул иной ветер — влажный, пахнущий не стужей, а талой водой и оживающей землёй.

Лёд на Жеме потемнел. Из чёрного и звонкого он сделался серым, ноздреватым, набух водой; по утрам он ещё держал, к полудню начинал хлюпать, и от реки пошёл тот особый весенний звук — треск, гул, далёкие выстрелы лопающегося льда, будто кто-то невидимый стрелял из лука в самое нутро реки.

А снег — тот самый снег, что в начале зимы так удачно укрыл их след, заровнял круги от юрт, спрятал караван от длинной южной руки, — снег начал сходить. Сперва на пригорках, на южных склонах, где сильнее грело; потом всюду. Он оседал, чернел, истаявал, обнажая из-под себя землю — чёрную, мокрую, парящую на солнце. Степь проступала из-под белого, как проступает правда из-под удобной лжи: пятнами, неотвратимо, со всех сторон разом.

Бозкур стоял на холме над зимовьем и смотрел на юг.

Внизу дымили юрты Борибая — мирно, сыто, по-домашнему. Там был его дом — на эту зиму. Там были мать, нашедшая брата; отец, доживавший свои годы в тепле и почёте; Арлан, уже сколотивший среди жемских мальчишек свою ватагу и ведущий свои войны; Карлыгаш, у которой прорезался четвёртый зуб; Айелин — светлая, своя, любящая, и теперь немного боящаяся, и всё равно его. Там было тепло, которое они нашли. И за которое он заплатил — кровью в камышах, шестью свёртками в пополах, провалом в собственной памяти, тем, что увидела в его глазах жена.

Он заплатил. Долг тепла был отдан. Род Борибая был в безопасности, степь у Жема чиста, зима пережита.

Но Бозкур смотрел на юг, на чёрные проталины, расползающиеся по белому, и понимал то, что понимал давно, ещё там, у Жёлтого оврага, когда отец впервые сказал про ураганы.

Снег уходил. Снег больше не прятал.

Скоро земля подсохнет. Откроются дороги. И длинная южная рука, переждавшая холода у себя, в тепле, за каменными стенами хорезмийских городов, — эта рука снова потянется на север. По подсохшей степи. Искать. Скуластого. На сером коне с тёмным пятном на правом плече. Того, кого видел старик-караванщик у розовой воды. Того, чьё лицо старик выдал под пыткой вместе с лицом Темира.

Фора кончилась. Та фора, что отец купил за двух лохматых выючных лошадей. Её хватило ровно на зиму — ровно настолько, насколько снег держал след. Теперь снег сходил, и вместе с ним сходила защита.

Оставаться было нельзя. Привести длинную руку сюда, к Борибаю, в род, который их пригрел, отплатить за хлеб и тепло тем, что навлечёт на хозяев хорезмийскую месть, — этого Бозкур не сделал бы. Уходить надо было снова. Дальше. Туда, куда уходят те, за кем тянется кровавый след и кому нет места у мирного очага.

На запад. За Итиль. Туда, откуда вернулся чужим Есен с ромейским серебром и шрамом через скулу. К тёплому морю, имени которого Бозкур ещё не знал. Туда, где кыпчакская сабля в цене и где человеку без рода и без дома платят серебром за то единственное, что он умеет.

Он стоял на холме, и весенний ветер бил ему в лицо — тёплый, влажный, пахнущий талой землёй и дорогой. И где-то впереди, за краем степи, за Итилем, за Доном, лежало море, которого он не видел, и то, что у моря, — судьба, у которой не было пока ни имени, ни лица. Она не торопилась. Она умела ждать.

Он не видел этого. Он видел только чёрные проталины на белом да серый лёд на Жеме, готовый вот-вот тронуться.

Но старший голос внутри — тот, что всю дорогу складывал в суму лица и слова, чужую науку и материнские обереги, — этот голос смотрел на юг вместе с ним и знал, глухо, безошибочно, как знает степь приход бурана: дорога только началась. Аул под синим небом Тенгри остался позади навсегда. А что впереди — голос не говорил. Он никогда не говорил наперёд. Он только велел помнить.

Лёд на Жеме треснул — громко, на всю долину, первым весенним выстрелом.

Река просыпалась.

Пора было идти.

«Запомни это, — сказал голос. — Запомни всё. Тебе это понадобится — там, впереди. Каждое лицо. Каждое слово. Каждый оберег. Запомни — потому что больше у тебя ничего не останется».

И Бозкур, стоя на холме над чужим тёплым зимовьем, лицом на юг, навстречу подсыхающим дорогам и тому, что по ним придёт, — ответил голосу так, как привык:

— Помню.

И пошёл вниз — к огню, к семье, к Айелин, к недолгому ещё теплу. Готовиться в дорогу.

Снаружи, над степью, синело огромное, ясное, безоблачное небо Тенгри — то самое, под которым он родился, под которым убивал, под которым любил. Оно смотрело на него сверху, как смотрело всегда, — и молчало.

С неба, не тронув ни облака, шла весна.

А за весной, с юга, по подсыхающей степи, — шла буря.

Конец первого акта.

Акт второй

К ЧЁРНЫМ БЕРЕГАМ

Глава первая. Повязка

Караван встал на дневку у солончакового колодца на южном краю Устюрта, там, где плоская, как стол, глина уходит за окоём во все четыре стороны и негде спрятаться даже зайцу.

Купеческий караван был средний — голов тридцать верблюдов, связанных носовыми верёвками в три нитки, десяток погонщиков, своя охрана при саблях и луках. Шли с низовьев, на полудень, к Хорезму, и встали, чтобы напоить скот из горького колодца, перетянуть сбившиеся выюки и переждать полуденный жар, который весной на Устюрте ещё не жар, но уже и не утренний холод. Над колодцем висел обычный гомон: ревели верблюды, бранились погонщики, кто-то правил подпругу, кто-то жевал, привалившись к тюку.

Двое всадников показались с юга к полудню.

Они ехали не таясь и не спеша — двое на добрых, сытых конях, ведя в поводу третьего, выючного. Уже по тому, как они ехали, было видно: эти не боятся пустой степи, потому что за их спиной стоит сила, перед которой пустая степь ничто. Одеты были не богато и не бедно — в самый раз для дороги, в добротное, неброское. У старшего на поясе висела не степная сабля, а прямой хорезмийский меч, и держался он в седле так, как держится человек, привыкший, что перед ним расступаются. Караван-баши, завидев их, утёр руки и пошёл навстречу, ещё не зная, кто это, но уже чуя по осанке — казённые.

Они и были казённые. Винтики огромной ханской машины, что катилась тогда от Хорезма во все стороны, перемалывая под себя степь, города и людей. Не разбойники, не лихие — служилые. Сразу было видно: не дураки, не зря на службе. У таких всё взвешено и за всё отчёт.

Старший спешился, бросил повод младшему, кивнул караван-баши без поклона — так кивают тому, кто ниже, — и заговорил о пустяках. О дороге. О воде в колодце. О ценах на юге. Купец отвечал, кланяясь чуть больше, чем надо, и косясь на прямой меч. Младший тем временем прошёлся вдоль выюков, лениво, заложив руки за спину, и его быстрый глаз снял с каравана опись не хуже, чем это сделал бы сам купец: что везут, сколько, дорого ли.

Потом старший купил безделушек.

Не торгуясь, ткнул пальцем: вот этот пояс, эти две связки бус, тот костяной гребень. Кинул серебро — больше, чем стоило, и купец это понял, и от этого ему стало ещё неуютнее: щедрость казённого человека всегда к чему-то. Безделушки старший сунул в перемётную суму, не глядя, будто и не за ними приходил.

А потом, всё так же между делом, бросил на тюк ещё горсть серебра — отдельно от платы — и спросил.

— Не проходил ли тут человек. Молодой. Скуластый. На сером коне с тёмным пятном на плече.

Серебро лежало на тюке. Купец смотрел на него.

— Должок у одного хорошего человека к этому скуластому, — сказал старший. Голос был ровный, нелюбопытный, будто речь о мешке проса. — Найти бы. Отдать долг. Дело доброе.

Караван-баши развёл руками — почтенные, мол, мало ли по степи серых коней, мало ли скуластых, кыпчаки все на одно лицо для усталого человека. Старший покивал, соглашаясь, и серебро с тюка не убрал, и заговорил снова о ценах на юге. Но горсть лежала. И оба знали, зачем она лежит: не для этого колодца — для следующего. Где-нибудь да вспомнят охотно. Не здесь — так у соседнего колодца, не сегодня — так через неделю. Сеть ставили не торопясь, ячейку за ячейкой, и серебро было в ней грузилом.

У третьего костра каравана сидел молодой парень и слушал.

Он был из охраны — нанялся в эту охрану на последнем привале, к удивлению купца, у которого охрана и так была. Но парень попросил мало, почти за одну кормёжку, конь у него был

свой и быстрый, мышастый степной тарпан, на котором он сидел как влитой, лук — добрый, и сабля при нём была не игрушечная, а рабочая, кыпчакской ковки, простая, без насечки, из тех, что не бросаются в глаза. Лет ему было около восемнадцати. Высокий, ещё не заматеревший, длиннорукий, с тонкой шеей, по которой шла поперёк белёсая строчка старого шрама. Караван-баши пожал плечами и взял: лишняя сабля в степи не помеха, а просит дёшево — почему нет.

Парень держался особняком. Много молчал. Глядел больше по сторонам, чем в огонь, — привычка человека, который кого-то сторожит или кого-то ждёт. С погонщиками сходилась туго, баек у костра не травил, и за то, что молчун, его уже окрестили нелюдимым.

Сейчас он сидел у своего костра, точил и без того острый нож, и не поднимал головы. Но он слышал каждое слово, сказанное у выюков, — на плоском Устюрте звук идёт далеко, а слух у парня был молодой и злой.

«Молодой. Скуластый. На сером коне с тёмным пятном на плече».

Нож в его руке не дрогнул. Парень не поднял глаз, не переменялся в лице, не сделал ничего, что заметил бы сторонний глаз. Только провёл брусом по лезвию чуть медленнее, чем раньше. И ещё раз. И ещё.

Он дослушал до конца. Слышал, как старший заговорил снова о ценах, как купец, торопясь сменить разговор, предложил казённым чаю, как те отказались — спешат. Слышал, как двое сели в седло и тронулись дальше на юг, не оглядываясь, увозя свои безделушки и свой вопрос к следующему колодцу.

Парень убрал нож. И стал ждать.

Он ждал весь остаток дня и всю ночь. Не потому, что не знал, что делать, — а потому, что был уже не тот мальчишка, что год назад полез бы поперёд всех очертя голову. Кто-то выучил его терпению дорогой ценой. Он ждал, чтобы убедиться: казённые уехали совсем, не приставили к каравану глаз, не оставили позади себя соглядатая в тростнике или на гребне. Барымтач уходит сразу. Кто за барымтачом — тот ждёт. Этому его тоже выучили.

Сутки он смотрел на юг, на север и за спину. Степь была чиста. Казённые ушли по своему делу, к своим следующим колодцам.

И тогда, на рассвете второго дня, парень молча оседлал мышастого.

Караван-баши увидел, заорал через весь лагерь:

— Ты куда?! А уговор?! Позор тебе! Уговор дороже денег! Ты руку дал — сопровождать до Хорезма!

Парень остановил коня. Не стал спорить, не стал оправдываться. Он сунул руку за пазуху, отсчитал на ладонь серебро — ровно то, что взял задатком, монета в монету, — повернулся и швырнул его в сторону купца. Серебро тускло сверкнуло в утреннем свете и рассыпалось по солончаковой глине у ног караван-баши.

— Долг закрыт, — сказал парень. Первые слова за двое суток. Голос был молодой, но сухой, не мальчишеский.

И, не дожидаясь ответа, повернул мышастого на север и пошёл — сперва рысью, потом наметом, всё быстрее, и быстрый степной конь стелился под ним над плоской глиной, унося всадника туда, откуда пришёл вопрос про скуластого на сером.

Купец стоял над рассыпанным серебром и ругался ему вслед, поминая его род, его коня и его нелюдиму душу. Парень не оглянулся.

Он торопился. Ему надо было успеть раньше, чем серебро казённых ляжет в нужную ладонь у нужного колодца.

Начало весны 1181 года. Низовья реки Жем.

В то же самое время, в трёх неделях пути к северу, в ауле рода Борибая на реке Жем собирались на охоту.

Зима отпускала. Снег осел и почернел, по южным склонам пробилась первая зелёная игла, низины налились талой водой, и из плавней по утрам тянуло сырым холодом и оживающей землёй. Скот отощал за зиму, согым подъели, и мужчины собирались бить кабана в жемских низовьях — мясо к голодному предвесеннему столу дороже серебра.

Бозкур седлал не Боз-Ата. Серого он на грязную охоту по плавням не брал — серый был дорог, серого берегли для дороги и для боя. На охоту он брал гнедого мерина, злого и выносливого, которого по такой жиже не жалко.

Но прежде чем уйти, Бозкур сделал то, что делал теперь каждые несколько дней, как другие творят утреннюю молитву. Он подошёл к Боз-Ату в стойле, зачерпнул из загодя припасённого горшка тёмной жижи — золу, размешанную с салом и сажей, — и втёр серому в правое плечо, в то самое тёмное пятно, что знала вся округа на два перехода. Втёр против шерсти, гася приметку под грязным мутным разводом. Со стороны — конь как конь, в стойле грязный, замызганный, ничей. Серебристая стать пряталась под коркой.

Конь косил глазом и терпел. Он привык. Бозкур огладил ему шею — коротко, виновато — и оставил в стойле, чистить которое не велел: пусть стоит замаранный. Приметку подновляли, как подновляют огонь, — чтоб не угасла.

Потом охотники ушли в плавни, и про коня, про маскировку, про осторожность — про всё это в ауле забыли на полдня.

К вечеру Бозкура привезли назад на волокуше, со сломанными рёбрами.

Секач не захотел умирать по-хорошему. Распорол гнедого мерина под брюхо, вывалил ему кишки в ледяную воду и пошёл на упавшего Бозкура в упор. Бозкур принял зверя на рога-тину — и поймал тот короткий боевой провал, который в степи зовут «сын Тенгри пришёл»: страх гаснет, боль не доходит, тело бьёт само. В этом провале он и не почувствовал толком, как десять пудов кабаньей туши доехали по лопнувшему древку и ударили его в бок. Почувствовал потом — когда зверь издох, когда провал отпустил и вернулась боль, от которой побелело в глазах и пропало дыхание. Когда сплюнул в воду розовым.

Гнедого было жаль. Доброго мерина потеряли. Но мяса взяли вдоволь, а рёбра — что рёбра, рёбра у живого срастаются.

Дальше потянулись дни, каких Бозкур не знал давно: дни лежания.

Он лежал в юрте, перетянутый по груди мокрым войлоком, и учился жить на четверть вдоха. Глубже было нельзя — глубже под левой лопаткой проворачивался горячий осколок, и мир белел по краям. Кашлять было нельзя. Смеяться нельзя. Розовым он, по милости Тенгри, плевать перестал на вторую ночь — старуха-костоправка, послушав его грудь, сказала, что лёгкое целое, отбито, но целое, а ребро, видать, треснуло, не переломилось, и к большому теплу он встанет, если будет лежать смирно и не геройствовать.

Лежать смирно Бозкур умел плохо. Но тело не оставляло выбора.

Аул жил вокруг него своей весенней жизнью, и Бозкур слушал её сквозь войлок, как зверь в норе слушает лес. Капало с юрт. Орали грачи, вернувшиеся на старые гнёзда. Звенело железо у коновязи — Мурас перековывал коней на лето. Бабы выносили на солнце отсыревшую за зиму рухлядь, выбивали кошмы, и пыль стояла столбом. Дети, отощавшие, бледные после зимы, носились по подсыхающим проталинам с первым весенним ором. Арлан среди них верховодил, и его тонкий непреклонный голос носился по аулу, как овод. Карлыгаш училась ползать и брала приступом крепость из подушек, которую строила вокруг неё Айелин.

Айелин и выхаживала его. Меняла войлок, поила горьким отваром, не давала вставать. Делала это ровно, спокойно, без причитаний — она не умела причитать, она умела работать. И в её ровности было больше веры, чем в любых словах: она держалась так, будто и не сомневалась, что муж встанет, а потому и Бозкуру было трудно усомниться при ней.

На исходе первой недели через аул прошёл караван.

Первый караван года, с юга, по последнему льду на переправах. Небольшой, торговый. Встал у аула на полдня — напоить скот, сменять кое-что, отдохнуть. К чужим Бозкур не вышел: скуластого молодого мужчину в зимовьях Борибая чужой глаз видеть не должен был. Он лежал и слушал, как идёт торг, как Борибай раскатисто хохочет гостям навстречу, как мать выменивает у караванщиков соль и иголки.

Вечером, когда гости ушли, отец зашёл к нему и пересказал новости — между делом, не делая на них упора, как пересказывают всё, что услышал за день.

В Хорезме беспокойно: шах Текиш грызётся с роднёй за власть, и купцы рады — пока сильные дерутся, торговому человеку вольготнее. На Итиле к середине весны ждут большую воду, переправы встанут. Соль вздорожала, просо подешевело. В Саксине зимой пал скот.

И — между прочим, в том же ряду, без нажима — что по степи ходят какие-то богатые, непростые люди и ищут скуластого парня на сером коне с пятном; в двух дальних аулах за этого скуластого будто бы кто-то давал хорошую цену. Отец сказал это ровно, тем же голосом, что и про соль, и про большую воду, и пошёл дальше: что видел по дороге не один караван кыпчакской молодёжи — снимаются и уходят на запад, за Итиль, кто к грузинскому царю в войско, кто дальше, за славой и серебром, благо в степи нынче тесно, а на западе за кыпчакскую саблю платят.

А под самый конец отец помянул то, на чём задержался чуть дольше прочего.

— Перед этим караваном, — сказал он, — не так давно, прошёл у самой реки Жем другой. Большой. Каракитайский. Огромный, говорят, караван — верблюдов не одна сотня, своё войско при нём, свои стада на ходу, вода и корм с собой, всё своё. Идёт на запад северной дорогой.

— Северной? Сейчас? — Бозкур шевельнулся и поморщился: бок отозвался. — По весне, северным путём — это смерть. Распутица, большая вода, ни корма, ни жилья на сотни вёрст.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.